

Б. Мейлах

**ПУШКИН
И ЕГО ЭПОХА**



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1958**



ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕЙ



Жизнь наша лицейская сливается с политической эпохой народной жизни русской: приготoвилась гроза 1812 года.

Декабрист И. И. Пущин.



Глава первая

ЛЕГЕНДА О ЛИЦЕЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

1

Воспоминания и размышления о Лицее всегда проникнуты в творчестве Пушкина особенной лирической взволнованностью. Будь то мимолетное упоминание о лицейских днях в «Евгении Онегине», беглые строки посланий к лицейским сверстникам или стихотворения, посвященные памятной дате основания Лицея — 19 октября, — всюду ощущается сложное переплетение чувств — от возвышенной гордости прошлым и клятвенной верности традициям до глубокой скорби о минувшем времени, овеяном славой двенадцатого года, поэзией героического подвига, мечтами о свободе. Позже, в жесточайшие годы николаевского царствования, подлинный трагизм звучит у Пушкина в воспоминаниях обо всем, что связано с «заветными» царскосельскими лицейскими днями. Это чувство с наибольшей силой выражено в неоконченных стихах 1829 года, тема которых — приезд в Царское Село после долгой разлуки и многих перемен:

Воспоминаньями смущенный,
Исполнен сладкою тоской,
Сады прекрасные, под сумрак ваш священный
Вхожу с поникшею главой.
Так отрок библии, безумный расточитель,
До капли истощив раскаянья фиал,
Увидев, наконец, родимую обитель,
Главой поник и зарыдал...

Дальше поэт вспоминает послелицейские годы, «недоступные мечты», исчезнувшие в «бесплодном вихре суеты», любимую «семью друзей» — все то, что с вариациями (как всегда — свежими и оригинальными) звучит во всех и более ранних и более поздних пушкинских стихах о Лицее. Этот цикл завершается стихотворением «Была пора...», которое написано Пушкиным за несколько месяцев до его гибели, к двадцатипятилетней годовщине Лицея. Отличается оно исключительной эмоциональной напряженностью и широтой взглядов на гигантские исторические события, свидетелем которых был поэт.

Последовательность, с которой Пушкин пронес лицейские воспоминания через все свое творчество, привлекала внимание еще дореволюционных литературоведов. Однако большинство работ так называемых «историографов Лицея» отмечено той отталкивающей пошлостью, против которой протестовал еще И. И. Пущин, — декабрист и лицейский товарищ Пушкина, также свято хранивший память о «заветном дне» — 19 октября. Верность Пушкина Лицею толковалась официальными биографами чаще всего как традиционная в поэзии грусть о былой беззаботной юности, о мирных, беспечных годах «учения и шалостей» в кругу «друзей и братьев». Усилившееся с годами трагическое звучание лицейской темы у Пушкина превращалось ими в элегию о канувшей в прошлое царскосельской идиллии. Подобная трактовка лицейской темы по традиции подкреплялась односторонне подобранными материалами и тенденциозно комментированными строками из Пушкина:

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал...

(«Евгений Онегин», гл. VIII)

Истинная история пушкинского Лицея между тем говорит, что «безмятежными», идиллическими лицейские годы можно назвать только по сравнению с позднейшей биографией опального поэта, а возможность сентиментально-элегической трактовки лицейской темы исчезает при самом простом ознакомлении с теми взглядами, которыми Пушкин делился со своими друзьями, оканчивая Лицей. Это были не мечты о «тихой пристани»,

а скорее клятвы, напоминавшие клятвы воина о верности дружескому союзу в предчувствии грозных испытаний:

...где б ни был я: в огне ли смертной битвы,
При мирных ли берегах родимого ручья,
Святому братству верен я!

(«Разлука», 1817)

или:

...с первыми друзьями
Не резвою мечтой союз твой заключен;
Пред грозным временем, пред грозными судьбами,
О милый, вечен он!

(«В альбом Пушину», 1817)

«Святое братство», «лицейский союз» — это не только поэтический пароль Пушкина, Кюхельбекера, Дельвига; эти слова встречаются в многолетней переписке их ближайших товарищей — Пушина, Малиновского и даже такого не склонного к романтическим преувеличениям лицеиста, как Вольховский. В письме Малиновскому 1833 года (через 14 лет после окончания Лицея!) Вольховский, вспоминая томившегося в Сибири Ивана Пушина, говорил:

«Не резвою мечтой союз наш заключен;
<Пред грозным временем, пред грозными судьбами>
О милый, вечен он!

Так писал мне однажды дорогой и несчастный наш Иван; то же от всего сердца и тебе повторяю»¹.

О значении Лицея для Пушкина красноречиво говорят строки, посвященные им любимейшему из лицейских профессоров — Куницыну: «Он создал нас, он воспитал наш пламень...» Эти слова имеют точный смысл: «наш пламень» — это пламень свободы.

Роль Лицея в формировании мировоззрения тех передовых людей, которых дал России первый (так называемый пушкинский) выпуск, отмечена многими современниками поэта. Наиболее ярким свидетельством являются, несомненно, мемуары Пушина, который писал о своем вступлении в тайное общество: «Бурцов, которому я больше высказывался, нашел, что по мнениям и убеждениям моим, вынесенным из Лицея, я готов для дела. На этом основании он принял в общество меня и Вольховского». Даже если бы до нас дошли лишь эти мемуары, утверждение одного из убежденнейших декабристов было бы достаточным основанием для подробного

изучения внутренней жизни, системы воспитания и преподавания пушкинского Лицея. Но о Лицее как учебном заведении, насаждавшем свободомыслие, говорили и декабристы и люди враждебного лагеря — вплоть до Николая I².

И все же вопрос о значении Лицея, о борьбе различных идейных направлений и интересов внутри него не может быть решен лишь на основании лежащих на поверхности фактов. Он требует особого изучения.

Выяснение этого вопроса осложняется тем, что ни в официальных документах, ни в мемуарах внутренняя идейно-политическая жизнь Лицея почти не освещена. Пущин, например, говоря о Лицее в «историко-хронологическом отношении», отказывался сообщать подробности лицейской вседневной жизни, «близкой нам и памятной», утверждая, что они «должны остаться достоянием нашим»³.

До сих пор оставалось неясным также, каким образом заведение, задуманное правительством для подготовки высших правительственных чиновников, превратилось в настоящий рассадник вольномыслия. Вся противоречивость этого вопроса совершенно исчезла в тех оценках пушкинского Лицея, которые давались буржуазным литературоведением и влияние которых еще сказывается до сих пор.

А между тем ни один период биографии Пушкина не освещался так внимательно и подробно, как лицейский. О Лицее имеются объемистые работы. Среди них — специально о Лицее и лицеистах монографии И. Селезнева, Д. Кобеко, три тома «Материалов» Н. Гастфрейнда, сборники статей Я. Грота и К. Грота, не говоря уже о десятках других книг, брошюр, статей, затрагивающих в той или иной степени ту же тему. Во всех этих работах был использован большой фактический материал. Что же касается содержания их, то оно заключалось в создании (иногда сознательном, иногда бессознательном) легенды о пушкинском Лицее. Эта легенда имела две разновидности⁴.

Первую легенду, носившую явно реакционный характер, лепили из тенденциозно подобранных материалов И. Селезнев и Н. Гастфрейнд. Селезнев — бывший библиотечарь Лицея — написал и выпустил свой семисотстраничный «Очерк» в 1861 году «по предложению совета

Лицея, с соизволения его императорского высочества принца Петра Георгиевича Ольденбургского, попечителя Лицея». Напечатан «Очерк» (оказавший немало влияния на последующее пушкиноведение) «с дозволения директора Лицея генерал-лейтенанта Миллера». Уже «выходные данные» книги говорят об официальном характере этой, с внешней стороны, самой обстоятельной истории Лицея. И. Селезнев доказывает, что Лицей на протяжении всей своей истории непрерывно прогрессировал в силу «августейшего покровительства», «которое постоянно в течение пятидесяти лет хранило Лицей». Совершенно игнорируется коренное политическое отличие Лицея, в котором учился Пушкин (1811—1817), от вполне казенного, полувоенного заведения позднейших годов, связанного с пушкинским Лицеем только лишь по названию. Полицейский разгром Лицея, учиненный Александром I и Аракчеевым в 1822 году, рассматривается как «преобразование», вызванное «неустройствами». Первый выпуск Лицея, вошедший в историю передовой России именами Пушкина, Дельвига, Пушина, Кюхельбекера, обезличивается и тем самым вливается в «общую семью» лицейстов, из среды которых в течение многих десятилетий выходили «верные слуги престола» и в том числе жесточайшие «усмирители» революционного движения*⁵.

Эта реакционная концепция истории Лицея (как и самый метод отбора и освещения материалов) была подхвачена в XX веке Николаем Гастфрейндом. О политической тенденции его «Материалов» (1912—1913) достаточно говорит уже то, что восстание декабристов неизменно именуется у него «комедией», «шутовским восстанием». Степень «истинного достоинства» каждого из лицейских товарищей Пушкина Гастфрейнд измеряет количеством полученных ими впоследствии денежных премий, чинов и орденов, которые он подробно выписывает в своих трех томах с каким-то бюрократическим вдохновением. В 1915 году вышла книга о Лицее историка и члена Государственного совета Д. Кобеко, использовавшего некоторые новые материалы, но по своей политической тенденции в итоге приближающегося к «почтенному» (как выражается Кобеко) труду Селезнева.

* Характеристику идейного расслоения среди лицейстов пушкинского выпуска см. в третьей главе этого раздела книги.

Все авторы книг о Лицее были (за исключением Селезнева) лицеистами разных выпусков. Это сказалось и в том, как они освещали материал: соблазнительной была возможность утвердить в сознании читателя идею однородности Лицея и тем самым приобщиться к ореолу, которым был окружен пушкинский Лицей. Особенно отчетливо видна эта тенденция в книгах академика Я. Грота и его сына — К. Грота. Первый (отец) был лицеистом шестого выпуска (окончил в 1832 году), а впоследствии стал профессором Лицея (1853—1862). Поэтому он особенно заботился о том, чтобы «лицейский культ» (слова самого Грота) лишить какой-либо политической окраски и рассматривал его как идиллически-сентиментальное содружество людей, связь которых заключалась лишь в том, что они воспитывались под одной кровлей. «Легкомысленное кощунство» (то есть свободолобие и атеизм) Пушкина Грот снисходительно извинял как «дань молодости». Анализируя стихи Пушкина о Лицее, Я. Грот писал: «Эти чудные песни скрепляли узы дружбы не только между его товарищами, но и между воспитанниками старших курсов, и таким образом Пушкина надо считать главным творцом и хранителем идеи товарищеского братства, перешедшей во всей теплоте к последующим поколениям лицеистов». По Гроту получается, что «последующие поколения лицеистов», выросшие в «лучах пушкинской славы», оказались даже в более выигрышном, чем Пушкин, положении, ибо они поступили в «учебное заведение вполне организованное». Все эти рассуждения были развиты сыном Я. Грота — К. Гротом, писавшим об отце как человеке, преданном пушкинским традициям, сознательном слугителе лицейского «культа»⁶.

К. Грот утверждает прямую преемственность «великих и священных традиций» от Пушкина и пушкинского Лицея — к «нынешнему петербургскому Лицею». Для характеристики «священной преданности» этим традициям К. Грот без всякого стеснения приводит следующие «воспоминания» своего отца о посещении Пушкиным Лицея в 1828 году: «Пушкин был в черном сюртуке и белых панталонах. На лестнице оборвалась у него штрипка; он остановился, отстегнул ее и бросил на пол; я с намерением отстал и завладел этой драгоценностью, которая после долго хранилась у меня». Что касается

главного — разговоров Пушкина, то об этом сообщается: «Из разговоров Пушкина я ничего не помню». Подобными мемуарами обосновывалась «лицейская традиция»!⁷

Такова в общих чертах эта легенда о Лицее. Рядом с ней существовала другая легенда. Авторы ее признавали, что пушкинский Лицей значительно отличается от Лицея более позднего периода. Но они стремились представить Лицей пушкинского времени как единый, целостный, монолитный коллектив, проникнутый вольнолюбием. Зачатки этой легенды появились еще в работах П. В. Анненкова, а законченное ее выражение мы находим у В. Е. Якушкина. Вторая легенда о пушкинском Лицее оказалась весьма устойчивой. Неожиданным подкреплением ее явилась соответствующе истолкованная полицейская записка «Нечто о Царскосельском лицее и духе оногo» (1826). Нет почти ни одной работы о Пушкине, где эта записка не цитировалась бы. Из нее следует ни больше ни меньше, что пушкинский Лицей был чуть ли не главным центром революционного движения. Автор записки (по-видимому, Фаддей Булгарин) зачислял в революционеры, за исключением М. Корфа, почти всех лицеистов (число которых во времена написания записки достигло 78 человек). Все они, по словам доносчика, порицатели правительства, проповедники конституции, атеисты. К этой любопытной в своем роде записке нам еще придется вернуться. Пока лишь отметим, что она не может служить определяющим документом для суждений о всех выпускниках Лицея по той же причине, по какой позднее было неправильно судить о настроениях студенчества на основании обычных черносотенных прокламаций, утверждавших, что все без исключения студенты — революционеры. В действительности же из 78 воспитанников Лицея, которых имеет в виду «Записка» (и даже из 29 воспитанников пушкинского выпуска), преобладающее большинство стало впоследствии «благонамеренными» чиновниками. Непосредственно привлеченными к следствию по делу декабристов оказались восемь воспитанников Лицея пушкинского и других курсов. Это не значит, что влияние лицейского вольномыслия сказалось только на этих воспитанниках. Но о «лицейском духе» можно говорить применительно только к определенному кругу лицеистов, объединенных именем, которое и названо в записке, — именем *Пушкина*⁸.

Таким образом, истинное положение дела в Лицее не отражает ни одна из двух созданных дореволюционным литературоведением концепций: обе они оказались легендами. В исходных методологических позициях творцы этих легенд были близки: и те и другие стремились подменить историческую действительность действительностью мнимой, зачеркивали сложность отношений внутри пушкинского Лицея. Ложность обеих концепций была отмечена еще В. Гаевским, бывшим лицеистом. В 1863 году он писал в «Современнике»: «В официальной истории, биографиях и журнальных статьях, описывающих первые годы существования Лицея, он изображен каким-то идеальным учреждением, в котором действовали идеальные лица». Далее Гаевский указывает, что если поближе посмотреть на Лицей, то оказывается: «Все хорошее и разумное, не имея органической связи с предыдущим и последующим, является только как счастливая случайность». Эти слова Гаевский по цензурным причинам не расшифровывает, но из дальнейшего ясно, что он хотел подчеркнуть коренное отличие пушкинского Лицея от направления этого заведения в дальнейшем. Гаевский упоминает вскользь о гуманности, благородстве начал пушкинского Лицея, об уважении к человеческому достоинству и отсутствии там такого «полицейского элемента», как телесные наказания. Но тем не менее Гаевский указывает и на то, что Лицей пушкинского времени безмерно идеализировался и что вместе с тем все лучшее в нем не было связано «с последующим» (то есть с историей Лицея послепушкинского)⁹.

Советское пушкиноведение отвергает обе легенды о Лицее. Однако иллюзии, что лицейский период фундаментально разработан старым пушкиноведением, способствовали тому, что монографического пересмотра темы до сих пор не было произведено. Легенды о Лицее нельзя считать похороненными: всякий, кто знаком с литературой о Пушкине, знает, что рецидивы их встречаются до сих пор.

Другим пережитком старых работ о Лицее в наше время является освещение истории его возникновения и развития вне конкретной исторической обстановки. Поэтому так и остаются в силе слова В. Гаевского о том, что пушкинский Лицей был какой-то «счастливой случайностью». Неясно далее, кто и как направлял лицейское вольномыслие, как и в чем отражалась в Лицее

бурлившая в эти годы политическая жизнь России, борьба враждебных лагерей общественной мысли. Немало, наконец (как мы увидим ниже), бытует еще в описаниях Лицея фактически неверных представлений, в частности огульно отрицательно оценивается система преподавания и воспитания в нем (то есть самого существенного для Лицея!). Ценные соображения и сведения о пушкинском Лицее имеются в статье Ю. Н. Тынянова «Пушкин и Кюхельбекер». Тынянов поставил вопрос о противоречиях внутри Лицея и о необходимости изучить «пути проникновения в Лицей революционизирующих мнений и убеждений», но детальным изучением его не занялся, ограничившись анализом материалов архива Кюхельбекера. После него разработка этих вопросов дальше не пошла (появившиеся затем биографии Пушкина внесли поправки в традиционную трактовку Лицея только в пределах тех материалов, которые привел Тынянов). Между тем и ранее известные (но требующие критического пересмотра) факты и неопубликованные, не использованные до сих пор материалы бросают новый свет на роль Лицея не только для Пушкина, но и для всей общественной жизни пушкинской эпохи¹⁰.

Самый круг источников, на которых основывается изучение этой темы, показывает, что Лицей был связан с всевозможными организациями, с представителями общественно-политических направлений и деятелями революционного движения. Для изучения истории Лицея только пушкинского выпуска, роли его руководителей, взглядов воспитанников приходится обращаться, кроме лицейского архива, к фондам правительственных учреждений, министерств, к секретным архивам — «собственной его величества канцелярии», Военно-историческому архиву, к материалам следственного комитета по делу декабристов, к частным фондам. Многие из документов опубликованы (полностью или частично), но пересмотр архивов позволил обнаружить большое количество новых ценнейших документов. Среди них первостепенный интерес представляют не известные ранее лекции лицейских профессоров Пушкина из архива его сокурсника кн. А. М. Горчакова, письма лицейцев, почти неопубликованный архив первого директора Лицея — В. Ф. Малиновского, бумаги второго директора — Е. А. Энгельгардта и многое другое.

Проект возникновения Лицея не был «счастливой случайностью»: он самым непосредственным и прямым образом связан с общественно-политической борьбой против абсолютизма и феодально-крепостнических, средневековых ограничений в экономической, политической и культурной жизни страны.

В годы, когда возникал Лицей, только еще начиналось то расслоение оппозиционных царизму сил, которое с такой резкостью проходило после Отечественной войны 1812 года и привело, затем к возникновению декабристских организаций.

По характеристике Ленина, эпоха дворянской революционности, при всем ее историческом значении,— это эпоха, когда «протестует ничтожное меньшинство дворян, бессильных без поддержки народа»¹¹. Именно поэтому дворянских революционеров постигла неудача. Тем более бессильным было протестующее меньшинство дворян в годы, предшествовавшие началу декабристского движения. Слабость политической оппозиции царизму сказалась в 1800—1810 годы также в распространенности иллюзий о возможности серьезных преобразований законодательным путем. (Эти иллюзии были свойственны тогда и некоторым из будущих декабристов.)

«Мирные иллюзии» начала александровского царствования, коренившиеся в классовых особенностях дворянской оппозиционности, поддерживались лицемерной тактикой императора. То было время, когда, как отметил Ленин, «монархи то заигрывали с либерализмом, то являлись палачами Радищевых и «спускали» на верноподанных Аракчеевых»¹². Внешним либерализмом Александр I с иезуитской хитростью прикрывал свою реакционную политику. Облик царя Пушкин впоследствии запечатлел в лаконичных и точных словах:

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда...

Однако в годы, предшествовавшие войне, иллюзии о возможности ликвидировать самовластие «сверху» вызвали к жизни один проект реформ за другим. Возникновение этих проектов следует объяснить не «добрыми

намерениями» их авторов, а объективными причинами. Подспудное развитие элементов капитализма в недрах крепостной России, рост новых тенденций в экономической жизни (и прежде всего, рост вольнонаемного труда и промышленного производства), непрекращавшиеся крестьянские волнения, напоминавшие о том, что после усмирения «пугачевщины» народ не смирился, — все это ставило с большой остротой проблему изменения политического строя. Не только для выразителей народных интересов, но зачастую и для тех дальновидных деятелей дворянского общества, которые заботились прежде всего о собственном благополучии, становилось ясно, что существовавшие порядки сковывали дальнейшее развитие страны, закрепляли ее хозяйственную отсталость, узаконивали полную беззащитность личности, произвол самодержавно-бюрократического аппарата. Разумеется, даже те проекты, которые ставили вопрос о серьезных реформах (ограничение самодержавия, введение конституции, установление «гражданских свобод» и т. д.), преследовали главным образом интересы имущих классов, ибо «действительное освобождение масс от гнета и произвола нигде и никогда на свете не достигалось не чем иным, кроме как самостоятельной, геройской, сознательной борьбой самих этих масс»¹³. Поэтому даже наиболее прогрессивные из проектов 1800-х годов, затрагивавшие острейшие вопросы политической жизни, просвещения и т. д., были ограниченными по своему содержанию. И все же в конкретных условиях 1800-х годов проекты эти способствовали развитию критики самодержавия, а самый их провал усиливал недовольство царем.

Наиболее крупными представителями дворянской оппозиции были Н. Мордвинов и М. Сперанский. Интересно отметить, что в позднейшем пушкинском плане романа «Русский Пелам», посвященном александровскому времени, упоминается «Мордвинов и его общество». Как известно, Н. Мордвинов, М. Сперанский и другие деятели этого круга пытались (с разными политическими целями) добиться «сверху» существенных изменений в системе государственного управления. Недаром более десяти лет спустя следственный комитет по делу декабристов внимательно выяснял пути распространения среди них не только проектов Сперанского, но и «мнений» более умеренного деятеля — Мордвинова.

Проект создания Лицея может быть понят только в связи с планами преобразования России, возникшими в 1800-е годы. В свете всех дошедших до нас материалов и документов Лицей, по мысли его организаторов, должен был готовить деятелей для борьбы именно за осуществление этих планов. Понятно, почему в числе инициаторов организации Лицея и его руководителей мы видим людей, которые в те годы были сторонниками конституционных перемен в политическом строе, — не только осторожного, учитывающего конъюнктуру М. М. Сперанского, но и таких убежденных передовых общественных деятелей, как первый директор Лицея В. Ф. Малиновский и профессор А. П. Куницын. При всем различии между позициями Сперанского, с одной стороны, Малиновского и Куницына — с другой, в их взглядах на Лицей было много общего.

В исторических и литературоведческих трудах различны мнения о самом авторе проекта образования Лицея: он приписывается Александру I, а также Лагарпу, И. И. Мартынову, Сперанскому и даже графу Разумовскому.

Между тем документы подтверждают, что именно Сперанскому принадлежит инициатива организации Лицея. В письме Масальскому 1815 года он протестовал против приписывания этой инициативы другим лицам. «Училище сие, — писал он, — образовано и устав его написан мною, хотя и присвоили себе работу сию другие; но без самолюбия скажу, что он соединяет в себе несравненно более видов, чем все наши университеты». Но имеются и более веские, фактические доказательства. В архиве Министерства народного просвещения сохранились рукописи Сперанского, посвященные Лицею и полностью раскрывающие цели и замыслы, связанные с этим заведением. Эти документы нельзя понять вне энергичной политической деятельности, которую развивал тогда Сперанский¹⁴.

Пушкин, желая запомнить свою беседу со Сперанским, состоявшуюся в 1834 году, записал в своем дневнике: «Разговор со Сперанским... о первом времени царствования Александра, о Ермолове etc.»*. Пушкин сказал

* Умолчание, обозначенное «etc.», многозначительно: Ермолов, так же как Сперанский и Мордвинов, намечался декабристами в состав временного правительства после переворота.

Сперанскому: «Вы и Аракчеев, вы стоите в дверях противоположных этого (александровского. — Б. М.) царствования как гении зла и блага». Слова Пушкина, хотя и неизмеримо преувеличивающие роль Сперанского, все же не были только комплиментом. Сперанский, выходец из незнатной и нечиновной среды («бурсак», «попович», — говорили про него), в те годы всемерно пытался использовать свое место статс-секретаря, чтобы добиться конституционных реформ. О значении внутренне противоречивой деятельности Сперанского имеются интересные замечания в статье Н. Г. Чернышевского «Русский реформатор» (1861). Он отмечает «мечтательность» и практическую беспочвенность, политическую ограниченность проектов Сперанского, которому и не думалось «прибегнуть к замыслам или мерам, не согласным с законными приемами и обязанностями его официального положения». Но Чернышевский вместе с тем называет Сперанского «серьезным реформатором», который «действительно хотел преобразовать государство». Содержание реформаторских замыслов Сперанского Чернышевский охарактеризовал так: он «действительно был *отчасти* приверженцем той политической системы, которая преобразовала Францию, которая провозглашала равноправность всех граждан и отменяла средневековое устройство». Слово «отчасти» очень важно. Предложенные Сперанским реформы не только не были революционными, а должны были, по его замыслу, предотвратить разрешение затронутых в его проектах проблем революционным путем. Однако проект несомненно содержал прогрессивные моменты и должен был в известной степени способствовать усилению процесса ломки феодальных отношений¹⁵.

В первое десятилетие XIX века Сперанский составил несколько проектов преобразования государственного управления, вызванных новыми тенденциями в развитии страны. Для понимания идеи возникновения Лицея особенно важен его «План государственного образования», разработанный в 1809 году. Обосновывая необходимость реформ, Сперанский писал: «Настоящая система образования не свойственна уже более состоянию общественного духа... Настало время переменить ее и основать новый порядок вещей», «правление, доселе самодержавное, учредить на неперменном законе». Проект был направлен

против деспотизма, произвола и беззакония, обосновывал необходимость установления конституционной монархии, создания представительных учреждений. Предусматривалось предоставление избирательных прав не только дворянству, но и «среднему сословию» — купцам, мещанам — на основе имущественного ценза. Буржуазный, в своей основе, характер предложенной Сперанским системы выборов членов законодательного «сословия» очевиден¹⁶.

Позднейшая либеральная историография идеализировала проект Сперанского. Либералы ценили в нем, конечно, не те черты, которые в 1800-х годах, в эпоху феодально-крепостническую, были исторически прогрессивными, а порочную мысль о возможности добиться «благих преобразований» путем реформы, а не революции «снизу».

Этой своей стороной реформаторская деятельность Сперанского была на руку тем, кто отрицал революционные методы борьбы. Будучи внутренне убежденным противником крепостного права и утверждая неизбежность его падения, Сперанский, однако, считал это делом «постепенным», делом будущего. Но прогрессивное зерно проектов Сперанского в начале XIX века заключалось в том, что, при всей своей противоречивости, непоследовательности, двойственности, они были проникнуты отрицательным отношением к деспотизму, средневековым ограничениям. В этой связи следует напомнить, что Ленин, протестуя против неверных оценок исторического значения перехода от монархии *абсолютной* к монархии *конституционной*, ссылаясь при этом на слова Энгельса: «Точно так же, — писал Энгельс, — как борьба феодализма с буржуазией не могла быть доведена до решительного конца в старой абсолютной монархии, а только в конституционной монархии... так и борьба буржуазии с пролетариатом может быть доведена до решительного конца только в республике»¹⁷.

Проект Сперанского должен был способствовать более интенсивной эволюции самодержавно-крепостнического государства в направлении к конституционной монархии. Разумеется, проект остался на бумаге. Как отметил Чернышевский, Сперанский «оставался лицом одиноким в придворной и правительственной сфере», «его намерения совершенно расходились с интересами и мыслями среды, в которую он вдвинулся против

ее желаний». «Сущность ошибки состояла в том, что Сперанский не понимал недостаточность средств своих для осуществления задуманных преобразований». «Самообольщение» Сперанского, «ложный путь», избранный им для достижения цели, сбивал с толку многих, и с этой стороны деятельность Сперанского можно назвать «вредной» (иначе говоря, «самообольщение» Сперанского способствовало распространению либеральных иллюзий)¹⁸.

Реформаторские планы Сперанского потёрпели, конечно, полный провал. Под давлением реакционных дворянских кругов в 1812 году Сперанский был уволен от всех должностей и выслан из Петербурга при бурном ликованием всех крепостников и двора. Но одно время он твердо надеялся, что его проект будет проведен. Ему казалось, что «российская конституция» уже в те годы дело реальное.

В самый разгар этих конституционных упований, в те дни, когда Сперанский вынашивал свой план реформированной России, он и написал проект организации Лицея, оказавшийся в противоречии с существовавшей системой образования. Сравнительный анализ составленного Сперанским плана реформ государственного строя и проекта Лицея указывает на *прямую* зависимость замысла «подготовки юношества, особенно предназначенного к важным частям службы государственной», от плана политических преобразований.

До нас дошли три проекта Лицея. Первый, краткий набросок, «Первоначальное начертание особенного Лицея» — автограф Сперанского. В нем сказано: Лицей составляется из «молодых людей разных состояний», «Разные состояния» означает разные сословия; выходцы из *разных сословий* и должны были научиться в *Лицее* управлению «важными частями службы государственной». В разделе «О образе жизни в Лицее» мы видим развитие той же мысли о равенстве воспитанников — выходцев из разных сословий: «Все учащиеся в Лицее составляют одно общество без всякого различия в столе и одежде». Воспитатели должны «наблюдать совершенное равенство в образе жизни учащихся и взаимном их обращении». Далее указывалось, что «предпочтение в классах» должно быть основано только «на успехах, а в домашней жизни на благонравии». Поскольку место-

пробытием Лицея было назначено Царское Село, в проекте учитывается необходимость предупредить растлевающее влияние придворного быта, подобиюстрастия, лакейства и т. д. В том же «начертании Лицея» указывалось: «Ни один из учащихся не должен являться при дворе, разве в приватном (то есть частном. — Б. М.) и совершенно домашнем виде»¹⁹.

«Первоначальное начертание Лицея» приведено в выходившем на правах рукописи «Лицейском журнале». Но совсем не изученным и не использованным в литературоведении остался *главнейший* документ истории возникновения Лицея — подробный черновой проект этого заведения, написанный рукой того же Сперанского. Этот проект исключительно интересен. Составленный, как мы полагаем, при самом ближайшем участии будущих руководителей Лицея Малиновского и Куницына, он излагает все основы лицейского воспитания и образования. Перед нами своеобразная страница истории русской педагогической мысли²⁰.

В главе о методе учения подчеркивается необходимость развивать инициативу учащихся, учить их самостоятельно мыслить. «Главное правило доброй методы или способа учения состоит в том, чтобы не затемнять ум детей пространственными изъяснениями, но возбуждать собственное его действие». Науки нравственные должны дать понятие «о должностях человека и гражданина». Развитие национального самосознания в этом проекте выдвигается на первый план. При изучении истории «российская история должна занять предпочтительное место». Особенно же «должно останавливать внимание на деяниях великих людей»²¹.

С большой тщательностью разработаны в проекте Лицея те его разделы, которые непосредственно были связаны с планами преобразования России на новых началах, — разделы о «науках нравственных» и «исторических», а также о законодательстве — этом, по мысли автора проекта, фундаменте реформы государственного строя. «Под именем наук нравственных здесь заключаются все те познания, кои относятся к нравственному положению человека [или гражданина] в обществе, и, следовательно, понятия об устройстве гражданских обществ, о правах и обязанностях, отсюда возникающих». История должна преподаваться в духе просветительной

философии, «должна быть делом разума», «предмет ее есть представить в разных превращениях государственных шествие нравственности, успехи разума и падения в разных гражданских установлениях». В противовес сторонникам эмпиризма проект требует изучение нравственных и исторических наук соединить с философией: «История мнений философских здесь существенное занимает место: то, что в училищах обыкновенно называют *философией*, в самом деле не что другое, как сравнительная история философских мнений о душе, идеях и мире. Исторические науки, рассматриваемые с сей точки зрения, справедливо названы *философиею истории*». Идеей прогресса должно быть проникнуто изучение права. «...От самых простых понятий права, должно довести воспитанников до коренного и твердого познания различных прав и изъяснить им систему права публичного, права общенародного, права частного»²².

Примечательна идейная целеустремленность этого проекта. В нем выдвинута необходимость руководящей идеи не только в преподавании истории и нравственности. Проект вообще требует, чтобы воспитанников учили избегать «ложного велеречия». Нужно «прежде заставлять мыслить, а потом уже искать выражений, и никогда не терпеть, чтобы они употребляли слова без ясных идей». Даже при разборе предложений на уроках словесности «нужно дать воспитанникам чувствовать, каким образом и какими средствами главная простая мысль получила особенную живость или возвышенность». Эти принципы должны быть положены в основу изучения правил ораторской речи, владение которой было жизненно необходимо для будущих политических деятелей²³.

Вообще все науки должны были прежде всего способствовать воспитанию будущих деятелей «новой России». Значение проекта Лицея — в его направленности против деспотизма, средневековья, реакционных систем воспитания. Поэтому вокруг проекта неизбежно должна была разгореться острая политическая борьба. Так оно и было. Атаку на проект Лицея предпринял не только министр просвещения граф. А. К. Разумовский, но и Жозеф де Местр, мракобес и агент зарубежной реакции. Этот человек, формально считавшийся в России «посланником сардинского короля» (хотя король этот тогда

остался без владений), всеми силами стремился воспрепятствовать малейшим прогрессивным сдвигам в политической жизни России. Будучи доверенным лицом Разумовского, он ознакомился с проектом Сперанского и всячески пытался этот проект провалить.

В пяти письмах Разумовскому, написанных в июне — июле 1810 года, де Местр не без проницательности вскрыл политический смысл проекта Лицея. Содержание этого проекта он рассматривал в связи с просветительством XVIII века — идеологической системой, которая, по его словам, во Франции «произвела менее чем в тридцать лет то ужасное поколение, которое опрокинуло алтари и зарезало короля французского». С беспрецедентной наглостью де Местр поставил под сомнение самую необходимость просвещения в России. «Кто знает, например, созданы ли русские для науки?» — восклицал он в первом же письме о Лицее и тут же отвечал: «Мы еще не имеем никаких на это доказательств». Наука в России, утверждал он, «будет не только бесполезна, но даже опасна для государства», ибо создаст «дурных подданных». Автор проекта Лицея принадлежит, по словам де Местра в другом письме, «к тем, кто, захватив в свои руки воспитание юношества, грозит России». Де Местра удручает самая структура Лицея: она такова, что в этом учебном заведении не предусмотрены лица, «которые, при малейшем подозрении, могли бы потребовать лицейские тетради и донести о том, что в них нашли, правительству», которые не допускали бы «опасных книг» и добились бы прекращения связи Лицея с миром внешним²⁴.

Переходя к проекту учебной программы, де Местр подчеркивает ее направленность против идеологии абсолютизма и целой серией выписок доказывает «опасность» политического содержания тех предметов, которые глухо были названы «нравственными науками», «философским познанием» о правах и обязанностях человека и гражданина, «систематическим изложением физических наук и разных теорий о происхождении мира» и т. п. Все это, с его точки зрения, не что иное, как «введение в материализм». Любопытно, что в письмах де Местра, с целью доказательства вредности лицейской программы, приведены почти дословно те самые суждения различных мыслителей о «естественных пра-

вах народа», о поправлении самодержцев, которые впоследствии *действительно* пропагандировались в лицейских лекциях Куницына!

С особенной настойчивостью де Местр рекомендовал изъять из программы Лицея естественные и политические науки, историю, эстетику. Резко нападал он на методические принципы проекта, требовавшие идейности преподавания и развития самостоятельного мышления у воспитанников.

Проекту Лицея де Местр противопоставил систему воспитания в иезуитских учебных заведениях с их военно-полицейским режимом, телесными наказаниями, методами вколачивания реакционных идей в головы воспитанников. Это не было пустой пропагандой: иезуиты, эти воинствующие деятели международной католической реакции, изгнанные в свое время из государств Западной Европы, в начале XIX века формально восстановили свой орден в России и занялись также «воспитанием» русского юношества. (Как известно, и Пушкина вначале прочили было в воспитанники Петербургского иезуитского пансиона, который, на счастье будущего поэта, как раз в это время закрылся.)

Доводы де Местра, подкрепленные ссылками на авторитет церкви, возымели свое действие на министра просвещения Разумовского, который был заклятым врагом Сперанского. По собственному признанию де Местра, министр представил его соображения императору. Во всяком случае во всеподданнейшем докладе Разумовский буквально повторял многие возражения де Местра и, в частности, писал, что «история мнений о душе, идеях и мире, большей частью нелепых и противоречащих между собою, не озаряет ума полезными истинами, но помрачает заблуждениями и недоумениями». В заключение министр признавал неудовлетворительность проекта Лицея²⁵.

Чем же кончилась эта длительная (почти двухгодичная!) борьба вокруг Лицея?

Сравнение упомянутых выше проектов Лицея с постановлением о Лицее, утвержденным 12 августа 1810 года, показывает, что прежде всего оказался изменен пункт о классовом составе воспитанников. Пункт о детях «разных состояний» был заменен требованием при поступлении в Лицей представлять свиде-

тельство о дворянстве. Вычеркнут параграф о равенстве учащихся. Из учебного плана снята естественная история и сравнительная «история мнений философских о душе, идеях и мире». Введены параграфы о зависимости директора от министра и о системе контроля за Лицеем. Но *все основные идеи проекта о направлении, методах и содержании воспитания* в постановлении остались (включая даже изучение «прав человека и гражданина») ²⁶. Это объясняется следующими обстоятельствами.

После замечаний Разумовского, Жозефа де Местра и личного друга царя В. П. Кочубея проект редактировался директором департамента Министерства просвещения И. И. Мартыновым. Мартынов был в молодости человеком, близким к передовым кругам (в 1804—1805 годах он издавал «Северный вестник», где даже перепечатал главу из «Путешествия» Радищева). В годы организации Лицея Мартынов еще не растерял полностью своих былых политических убеждений. Редактируя постановление о Лицее и зная, что автором проекта был Сперанский, занимавший в то время одно из главнейших мест в государственном аппарате, Мартынов сумел сохранить в окончательном тексте такие формулировки, которые позволяли этому учебному заведению не только принять первоначально намеченное направление, но и выйти за эти пределы. О проекте Лицея можно сказать то же, что говорил Чернышевский по поводу других тогда же задуманных Сперанским учреждений: в его проектах «можно найти... признаки тому, что Сперанский предназначал их действовать не при старом, а при задуманном новом быте». Идея Сперанского о том, что из лицейстов выработаются деятели «представительного правления», осторожно проведена даже в отчете конференции Лицея за 1811—1817 годы, где указывается: «каждый из наставников руководствовался мыслию, что он образует юношей, которые... сделавшись орудиями верховной власти, соделаются вместе органами общего мнения...» ²⁷. Цель, которая была намечена в первоначальном проекте организации Лицея, могла быть углублена и осуществлена только при условии подбора соответствующих руководителей Лицея. От них и только от них зависела степень использования возможностей, заложенных в лицейской программе.

Директором Лицея был назначен Владимир Федорович Малиновский. Это необычайно яркая фигура. Его деятельность еще по-настоящему не изучена. Интерес представляет не только он сам, но и его семья: сын Малиновского, ближайший товарищ Пушкина по Лицею, был впоследствии женат на сестре декабриста Пушина; одна из дочерей вышла замуж за декабриста Розена и поехала вслед за ним в Сибирь; вторая была женой Вольховского, члена «Союза благоденствия».

Малиновский — человек, взгляды которого имеют определяющее значение для понимания «лицейского духа». Все дошедшие до нас материалы говорят о том, что в Малиновском Сперанский нашел человека, оказавшего несравненно более прогрессивных убеждений, чем он сам.

В плане автобиографических записок Пушкина под 1811 годом значится: «*Лицей*. Открытие... Малиновский, Куницын...» Однако до нас не дошли характеристики взглядов Малиновского ни от Пушкина, ни от его друзей (свои автобиографические записки Пушкин, как известно, из предосторожности уничтожил). Облик первого директора все же можно воссоздать на основе материалов, частично опубликованных, а в большей своей части не изданных.

В работах о Пушкине Малиновский изображается личностью совершенно бесцветной, неинтересной и даже жалкой. «В. Ф. Малиновский, — пишет Г. Чулков, — ничем значительным не отметил своего трехлетнего управления лицеем. Но и худого про него никто не мог сказать ничего. Он был одним из тех администраторов-педагогов, которые думают, что самое лучшее: как можно меньше управлять и руководить и что все устраивается само собою»²⁸.

Еще резче сказал о Малиновском Л. П. Гроссман. Описывая открытие Лицея, он говорит: «...выступил директор лицея Малиновский, занимавший до тех пор скромные должности в архивах и консульствах. Этот малозаметный чиновник, любивший переводить библию и псалтырь, совершенно растерялся, впервые выступая в «высочайшем» присутствии. Он был бледен, как смерть, и «чуть живой», прерывающимся от волнения

голосом читал по бумажке приветствие, написанное для него тем же Мартыновым... Торжественному славянизму стиля вполне соответствовал и верноподданнический тон приветствия». Такие характеристики Малиновского можно встретить и в других работах о Пушкине²⁹.

В обширной и ценной биографии Пушкина, написанной Н. Л. Бродским, о Малиновском имеются, однако, лишь следующие лаконичные строки: «...бледный, как смерть, начал читать что-то со свертком в руках директор лицея В. Ф. Малиновский и утомил всех, тем более, что слабый, прерывавшийся от волнения голос был слышен только в первых рядах»³⁰.

Эти характеристики восходят в своей фактической основе к «Записке» графа Корфа, бывшего лиценста, который стремился очернить все лучшее, что было в Лицее (и в том числе оклеветал Пушкина). Именно он писал, что Малиновский человек бесцветный, «без всякой людскости, слабый и вообще не созданный для управления какою-нибудь частью, тем более высшим учебным заведением». Сведения же о том, как Малиновский читал вступительную речь («бледный, как смерть») заимствованы всеми литературоведами из мемуаров Пушина, который ограничился только этим эпизодом и никакой характеристики первому директору Лицея не дал³¹.

Говоря о Малиновском, биографы Пушкина правы только в одном: дошедший до нас текст речи оставляет впечатление не только законченной «благонамеренности», но и доходящей до комизма архаичности. Здесь и выпренное обращение к государю, который «в столь знаменитом обиталище отверзает храм наук для отличнейшего юношества», и кудрявые фразы о природе Царского Села, где «благорастворенный воздух, укрепляя силы телесные, укрепит и душевные в величии чувствований и деяний». Кончается речь уверением: «Мы потщимся каждую минуту жизни нашей все силы и способности наши принести на пользу сего нового вертограда, да ваше императорское величество и все отечество возрадуется о плодах его»³².

Но все дело в том, что эта речь и по содержанию и по стилю противоречит всему, что когда-либо было написано рукою Малиновского. На это не обратили

внимания даже те исследователи, которые знали, что текст речи Малиновскому не принадлежал. В воспоминаниях директора департамента И. И. Мартынова об открытии Лицея сказано: «...директор Малиновский произнес сочиненную мною, приличную сему случаю речь». К этому следует добавить, что считавшаяся программной речь директора редактировалась министром просвещения, тупым и подобоострастным чиновником Разумовским. По свидетельству самого Малиновского, министр заставил его даже репетировать эту речь в своем присутствии³³.

Итак, речь Малиновского как материал для суждения о нем отпадает. Что же касается робости Малиновского при чтении речи (это всегда подчеркивается биографами Пушкина), то по этому поводу декабрист А. Е. Розен писал: «Малиновский был необыкновенно скромн... и должен был произнести речь, которая десятки раз была переправлена предварительно цензурой; так мудрено ли, что он был смущен? и диво ли, что природа не дала ему голоса лихого батальонного комиссара перед фрунтом?»³⁴

Политической характеристики Малиновского избегали все, кто в той или иной форме писал о его деятельности. Автор единственного очерка, посвященного первому директору Лицея, Д. Кобеко на две трети посвятил свою небольшую брошюру не относящимся к делу сведениям и совершенно не коснулся взглядов Малиновского³⁵.

Между тем литературное наследие Малиновского (в значительной части не опубликованное), сочинения, письма, дневники, рисует его как убежденного врага крепостничества и горячего сторонника «политических перемен» в государственном строе России. Как отметил Ю. Н. Тынянов (единственный из исследователей, который, хотя и вскользь, но все же возразил против принятого мнения о Малиновском), «под его прямым влиянием развились в Лицее будущие декабристы»³⁶.

Интересный вопрос о мировоззрении Малиновского ждет своего исследователя: разработкой его будет вписана еще одна страница в историю общественной мысли конца XVIII — начала XIX века. В рамках нашей книги мы можем говорить о Малиновском в пределах темы, связанной с пушкинским Лицеем.

Малиновский был человеком высокой культуры и широкого политического кругозора, блестящим знатоком не только западноевропейских, но и восточных языков. Окончив в 1781 году философский факультет Московского университета, он поступил в архив коллегии иностранных дел, в 1789—1791 годах служил в русской миссии в Лондоне, затем был генеральным консулом в Молдавии.

Уже в эти годы Малиновский отрицательно относится к современному укладу. В письме из Ясс к невесте 4 сентября 1791 года он говорит о своем презрении к чинам и богатству и замечает: «... вы знаете Россию — без них у нас человек не почитается человеком. Я положил предметом своей жизни сделать что-нибудь полезное»³⁷.

Из писем Малиновского можно заключить, что он принадлежал к какому-то кружку или обществу, где велись потаенные беседы. В письме к неизвестному 20 ноября 1792 года он пишет: «Лично говорю тебе, любезный друг, ибо кроме стен нет и не должно быть слушателей. Но не то будет, когда мы решимся привести в образ жизни и обычаи правила друзей человека, тогда и в мужике, и в соседе, и в госте найдем себе собеседника — товарища или сочлена и помощника, ибо тогда будут все наши беседы как теперешние собрания и вся жизнь исполнение правил нашего общества»³⁸.

В двух письмах 1792 года к неизвестному Малиновский убеждает своего друга создать в уфимской степи род свободного общежития (по типу утопических проектов приверженцев естественного права), основанного на свободе и независимости, и заняться просвещением местных жителей, которые, пишет он, тем лучше крестьян, что «они не наши собственные, они вольны, и мы не господами, но отцами их будем». Этот утопический план близок идее новиковцев, мечтавших основать небольшую республику в Сибири и по ее подобию преобразовать всю Россию. Здесь не простое совпадение: к Новикову, который, по словам Пушкина, распространил «первые лучи просвещения» и за это стал жертвой екатерининской реакции, восходят во многом взгляды Малиновского³⁹.

Отголоском новиковских влияний является и журнал «Осенние вечера», издававшийся Малиновским в

1803 году. Пропаганда «общей пользы наущения и просвещения» пронизана в этом журнале страстным патриотизмом, стремлением поставить Россию на высочайшую ступень славы и могущества. В статьях, которые Малиновский печатал в своем журнале («Любовь России», «История России», «Своя сторона» и др.), эти идеи подкрепляются различными примерами. Содержание журнала во многом повторяет дневники Малиновского. Он требует не пассивной, а деятельной любви к отечеству. Для укрепления национальных чувств он считает необходимым всемерное развитие просвещения, учреждение университетов, основание всероссийской национальной газеты, которая освещала бы жизнь всей страны и возбудила бы «дух общественный». Вместе с тем встречается в «Осенних вечерах» и религиозность, характерная для новиковского круга.

Идеями просвещения и свободолюбия, горячим сочувствием к угнетенному крестьянству проникнута также любопытнейшая (до сих пор не опубликованная) записная книжка Малиновского 1799—1803 годов, содержащая наброски политических статей, а также «Историю России для простых и малых».

Связи Малиновского с кругом и идеями Новикова не остались незамеченными. Этим следует объяснить, что автор вышеупомянутой полицейской записки о Лицее подчеркивает, что «лицейский дух» ведет свое начало от секты мартинистов «под начальством Новикова». Между прочим, и Пушкин в плане лицейских автобиографических записок лаконично замечает: «Мартинизм» (1811) ⁴⁰.

Малиновскому чужды революционные методы переустройства России, но в его сочинениях содержатся резкие обличительные характеристики политических порядков. В 1790-х годах Малиновский пишет «Рассуждение о мире и войне» (напечатано в 1803 году, в двух частях). Он выступает за прекращение войн и предлагает создать международный орган («общий совет») с представителями всех стран. Этот орган, решающий споры между народами, должен стоять на страже мира, обеспечивать суверенитет каждого из его членов и применять (говоря современным языком) санкции по отношению к агрессорам.

Здесь же Малиновский выступает в защиту крепостного люда. Черновой набросок его к этому труду связан по содержанию и стилю с главой о рекрутчине из «Путешествия» Радищева. Описывая ужасы рекрутского набора, Малиновский заключает: «Могу ли я быть так спокоен, когда другие будут проливать кровь? Тот, которого пронзит смертоносное орудие, подобен тебе, он человек, твой брат». В 1802 году Малиновский написал «Записку об освобождении рабов». К вопросу о необходимости ликвидировать крепостничество Малиновский часто возвращался в своих дневниках. В дневнике 1799—1803 годов он записывает: «Кто любит добродетель и отечество, должен стараться о прекращении рабства. Оно портит нрав россиянина. Сия заносчивость, запальчивость и купно низость и раболепствие — от воспитания, житья и обхождения с рабами». Таким образом, документы опровергают характеристику облика Малиновского, данную И. Селезевым (от нее отправляются все позднейшие исследователи): «Добродушие, кротость, мечтательность, привязанность к тихой, уединенной жизни»⁴¹.

В дневнике Малиновского рассыпаны резкие замечания о русском самодержавии, деспотизме, беззаконии, продажности власти, о беззащитности человеческой личности и всеобщем недовольстве правительством. «Правление российское ныне есть деспото-аристократия. Владыко-вельможное», — пишет Малиновский. Для того чтобы «исправить участь России», необходимо такое правление, «в коем общество имеет часть». В другом месте дневника Малиновский защищает идею ограничения монархической власти в России: «...подданные могут предписывать себе законы в своих делах, поелику такие законы ни целости, ни безопасности республики, и ниже законам, от верховного правления предписанным, не противны»⁴².

Программу реформ, о которых мечтал Малиновский, можно назвать одним из вариантов тех проектов, который выдвигал Сперанский. Однако в отличие от Сперанского Малиновский не занимал никакого положения в правительственном аппарате, его суждения являются более свободными, более резкими. Так, например, мысль об ограничении самодержавия выражена им в такой форме: «Бесспорно надлежит России управляемой быть

единым. Но не мешает, чтоб сей единый ограничен был от самопроизвольного делания зла. Спросить кроткого монарха, пожалеет ли он расстаться с сею властью русских царей рубить и вешать, сечь и засылать в Сибирь без разбору правого с виноватым...» Рассуждая о рабстве, Малиновский саркастически замечает: «Дворяне так привыкли к рабам, что думают — без них и крестьян не будет». Особую часть дневника 1803 года составляют рассуждения «О созвании депутатов» — «для соображения недостатков и злоупотреблений всей империи... и для составления надежного правления и сообразных тому непременных законов». Через депутатов следует послушать «мнение представляемого ими народа». За провал законодательных замыслов порицается Екатерина: «Гром побед, ласкательство ученых довершили сооруженную в уме ее громаду собственной великости»⁴³.

Малиновский в 1803 году разделял иллюзии Сперанского о возможности добровольного дарования «свобод» Александром. Впрочем, и тогда Малиновский говорит о «сомнениях» государя и замечает: «Государь не ангел»*. Малиновский идет дальше проектов Сперанского. Ликвидацию крепостничества он считает делом самым ~~идеальным~~ ~~идеальным~~, а не задачей «дальнейших преобразований». Затем он категорически, без всяких оговорок ~~исключает~~ ~~исключает~~ самую идею проведения законодательных реформ без участия депутатов от народа. «Закон есть изъявление общей воли», — утверждает Малиновский. «Законоположение без соучастия законополагаемых (то есть депутатов. — Б. М.), без совета их и представления бедственнее настоящего недостатка законов». С требованием публичного обсуждения реформ депутатами всей России связана полемика Малиновского против механического копирования «кодексов европейских». «Великая обида россиянам почитать их неспособными для составления своих законов! — воскликнул он. — Доселе толь знаменитые в Европе своим мужеством и победами, они законодательством покажут, сколь великого почтения достойны по дарованиям своего быстрого ума и тонкого понятия»⁴⁴.

* Это выражение можно рассматривать как полемику с придворными кругами, где Александра называли «notre ange» (наш ангел).

В конце XVIII — начале XIX века Малиновский, как мы видели, развил активную политическую деятельность: доказательством этому — проект ликвидации крепостничества, его сочинения, письма, дневники. Цитированные выше его рассуждения из дневника об изменениях государственного строя представляют собою не просто «записки для себя», а наброски к задуманной книге. Однако опала, которой подвергся Сперанский в 1812 году, высылка его из Петербурга вызвала у Малиновского глубокий душевный кризис, обострившийся смертью жены и собственной болезнью. К этому прибавились переживания от его столкновений по делам Лицея с министром просвещения. Дневники Малиновского за последние годы жизни отражают его тяжчайший надлом. Ему всегда были свойственны религиозно-мистические настроения. Он принадлежал к кругу тех людей, о которых Пушкин в 30-х годах вспоминал: «Странная смесь мистической набожности и философского вольнодумства, бескорыстная любовь к просвещению, практическая филантропия ярко отличали их от того поколения, к которому они принадлежали». Под влиянием упомянутых обстоятельств мистические настроения Малиновского усиливаются. В дневниках последних лет он пишет о своих «печальных чувствах», вызванных «внутренним разорением России», описывает свое состояние душевной тревоги, неясных роковых предчувствий⁴⁵.

Самая судьба Малиновского — типичная для этого времени судьба человека, надломленного крушением несвершившихся надежд. Он умер в марте 1814 года. (Пушкин дважды упоминал о его смерти в позднейшей программе своих записок.)

Итак, можно с полным основанием утверждать, что основы идейно-воспитательной работы и само направление лицейского воспитания восходят к взглядам Малиновского, отраженным в его сочинениях. Малиновский был инициатором таких отношений между лицейским начальством, профессорами и воспитанниками, при которых (независимо от происхождения и чиновных различий) «воспитывающие и воспитываемые составляли всегда одно сословие». Сама идея свободы суждений лицейстов по политическим вопросам также восходит к Малиновскому, который постоянно указывал на необхо-

димось «общего духа»; позволяющего заниматься «суждением о управляющих и деяниях их». Он говорил об «общем мнении», «общем благоденствии», «общей воле». «Общее мнение», «общее дело (*res publica*)», «общая польза» стали распространенными формулами в лицейском преподавании, сочинениях, разговорном языке. О «пользе общей» писал Малиновский в дневнике, рассуждая о вреде деспотизма и о необходимости ограничить самодержавие. «Для общей пользы» — гласила надпись на лицейской медали, которой награждались лучшие ученики. Эта терминология, впоследствии утерявшая свой первоначальный смысл, ознаменовала тогда переворот во взглядах целого поколения, выступившего против абсолютизма. В России она появилась еще в годы борьбы с екатерининским деспотизмом. Пушкин впоследствии сочувственно цитировал восторженный отзыв Киреевского об этом времени: «Тогда отечество наше было, хотя и ненадолго, свидетелем события, почти единственного в летописях нашего просвещения: *рождения* общего мнения». Кюхельбекер в «Лицейском словаре» («наш словарь», — назвал его Пушкин) записал: «Пусть народ выбирает своих *предстателей*, а сии последние правителей государства... пусть общее мнение решает гражданские несогласия». Конечно, термин «общее мнение» в лицейском обиходе не имел того революционного содержания, которое вкладывал в эти же слова Радищев. У Малиновского и людей его круга, так же, как и для передовых лицеистов, слова о «пользе общей» были своеобразным паролем борьбы с абсолютизмом и крепостничеством, но не за народовластие. Однако важно отметить, что эти слова выражали идеологию русского национального подъема. «Общий дух» Малиновский обосновывает как «главное побуждение россиянина» в «бесстрашных его делах». «Поревнование» (то есть взаимопомощь, единение, сознание общности. — Б. М.) ему наиболее свойственно, возбужден оным из доброй воли, он сносит труды и опасности. И далее приводятся народные поговорки: «Жить вместе и умереть вместе», «На миру и смерть красна»⁴⁶.

Таков смысл этой лицейской терминологии в истолковании Малиновского. Распространение ее в Лицее имело огромное воспитательное значение. И в этом — заслуга Малиновского и людей его круга.

Однако Лицей не остался вне сферы влияния и людей, еще более прогрессивных, из среды которых вышли видные деятели тайных обществ. Это влияние осуществлялось через молодого профессора нравственно-политических наук А. П. Куницына, принимавшего энергичное участие в пропагандистской деятельности декабристских объединений. С декабристской средой его связал, несомненно, Н. И. Тургенев, один из виднейших членов тайного общества, впоследствии заочно приговоренный к смертной казни. Общение Куницына с Тургеневым началось еще в годы их совместного обучения в Геттингенском университете. Деятельность Куницына благодаря Тургеневу оказалась настолько близкой «Союзу благоденствия», что невольно напрашивается мысль о том, что лицейский профессор был членом тайного общества. Куницын в печати (главным образом в «Сыне отечества») откровенно пропагандировал необходимость введения в России конституции и ликвидации крепостного права. Основные идеи всех книг и статей Куницына почти целиком совпадают с идеями Н. Тургенева и, в частности, с его знаменитым «Опытом теории налогов». «Опыт» Тургенева, направленный против крепостничества и абсолютизма, был написан к концу его пребывания в Геттингенском университете (1810—1811). Выход этой книги в свет (1818) Куницын приветствовал обстоятельной рецензией и отстаивал ее от нападок реакционеров (ко второму изданию «Опыта теории налогов» приложена рецензия Куницына). В 1819 году Тургенев начал организацию Журнального общества для издания легального органа «Союза благоденствия». Сохранившиеся документы свидетельствуют, что Куницын был намечен соредактором журнала, ставившего своей целью «писать против рабства» и «распространять здравые идеи политические». В письме брату Сергею Н. Тургенев писал: «Я сообщил мою идею Куницыну. Он ее принял. Сверх того, присовокупились несколько молодых людей, бывших воспитанников Лицея, и несколько офицеров... Все статьи должны иметь целью свободомыслие». Журнальное общество (членом которого был и Пушкин) после нескольких заседаний прекратило свое существование. О более тесной связи Куницына с декабристами говорит другой факт — чтение для них лекций по курсу «политических наук». Лекции

Куницына, не только публичные, но и на частных квартирах, слушали в 1816—1820 годах декабристы Пестель, Муравьевы, Федор Глинка, Бурцов, Павел Колошин, Поджою, Оболенский и др. Ф. Глинка в своем показании следственному комитету назвал кружок слушателей этих лекций «отделением политических наук» «Союза благоденствия»⁴⁷.

В 1818—1820 годах Куницын издает свою книгу «Право естественное» (в двух частях). Публикация ее повлекла за собой травлю автора Министерством духовных дел и народного просвещения, окончившуюся увольнением его с должности профессора. Куницын переехал окончательно в Петербург, чтобы, по словам Е. А. Энгельгардта, «читать приватно публично курсы». Труд Куницына, отпечатанный в количестве тысячи экземпляров, был в 1820 году повсеместно конфискован и уничтожен. После конфискации «Естественного права» его кипучая агитационно-политическая деятельность, начало которой относится еще ко времени организации Лицея, была оборвана⁴⁸.

В период своей педагогической деятельности Куницын вместе с Малиновским давал общее направление всему лицейскому духу. Именно Куницын провозгласил направление лицейского воспитания в своей речи, обращенной к воспитанникам 19 октября 1811 года на торжественном акте открытия Лицея. Эта исполненная пафоса речь, отражавшая чувства и стремления нового поколения передовых русских людей, была сочувственно отмечена в прогрессивной печати и в переписке современников. О ней как о самом ярком событии этого дня вспоминал Пушкин в стихотворении, посвященном лицейской годовщине 1836 года:

...И встретил нас Куницын
Приветствием меж царственных гостей.

Речь Куницына — «Наставление, читанное воспитанникам при открытии императорского Царскосельского лицея» — является программной*. Она проникнута

* Она дошла до нас в двух редакциях. Первая редакция (цензурное разрешение 2 октября 1811 года) отличается от второй (цензурное разрешение 7 декабря того же года) главным образом обилием ссылок на разных авторов, в числе которых выдающийся просветитель материалист Гельвеций и историк, обличитель феодально-абсолютистских порядков, Рейналь.

прославлением гражданской доблести и призывает к служению отечеству, общественному прогрессу. Цель воспитания — «даровать согражданам истинного соперника в общественных пользах». Далее отмечается особое предназначение государственных деятелей, которых должен готовить Лицей. Обращаясь к лицеистам, Куницын говорил: «Вы будете иметь непосредственное влияние на благо целого общества». Забота о народе — вот важнейшая задача «государственного человека»; он «обозревает состояние граждан, измеряет их нужды и недостатки, предвещает несчастья, им угрожающие, или прекращает постигнувшие их бедствия», «никогда не отвергает народного вопля». Программа воспитания заключается в том, чтобы научить воспитанников исполнению гражданского долга, показать «существо гражданских обязанностей». Для этого нужно раскрыть «состав гражданского общества» и извлечь уроки из истории человечества. «Многолетняя история... — сказал Куницын, — оживит перед вами минувшие века, воскресит погибшие царства, вызовет на суд буйных и беспечных граждан и, указывая на развалины государства, погибших от их разномыслия, предаст имена их вечному поношению».

Речь представляет собою горячую пропаганду просвещения, обличает невежество и предрассудки. Особенно подчеркивается Куницыным роль законов и законности, соотносимых с «природою человека». Он говорил воспитанникам: «Приуговорясь быть хранителями законов, научитесь прежде сами почитать оные; ибозакон, нарушенный блюстителями оного, не имеет святости в глазах народа». И, наконец, Куницын подробно говорил об аристократизме, восставая против суждений о достоинствах человека по чинам и происхождению. Он убеждал воспитанников, что единственное мерило человека — гражданская доблесть и высокая нравственность. «И хотя можно было присвоить отличие не по достоинству, но можно ли присвоить неизъяснимое удовольствие, истекающее от ощущения собственных достоинств?.. Почести без заслуг, отличие без дарования, украшения без добродетели наполняют горестью благородное сердце. Какая польза гордиться титлами, приобретенными не по достоинству, когда во взорах каждого видны укоризна или презрение, хула или нареканья,

ненависть или проклятие?» Все эти призывы завершались напоминанием о народных традициях: «Так думали и действовали древние россы, прославленные веками; вы должны последовать их великому примеру». Свою речь Куницын закончил вдохновенным обращением к юным «гражданам» России: «Вы ли захотите смешаться с толпой людей обыкновенных, пресмыкающихся в неизвестности и каждый день поглощаемых волнами забвения? Нет! да не развратит мысль сия вашего воображения! Любовь к славе и отечеству должны быть вашими руководителями!»⁴⁹

Эта речь по самой своей фразеологии связана с мироощущением передовых людей России. «Граждане», «соревнование», «природа человека», «общественная цель», «общественная польза», «общественное благоденствие», «истинная добродетель», прославление принципов закона и законности — с этой терминологией мы встречались и у Малиновского. Она приобретала в сознании современников определенную политическую направленность (вспомним, что одно из первых тайных обществ называлось *«Союзом благоденствия»*, а устав его — *«Зеленая книга»* — пестрел этими терминами). Даже само понятие «славы» наполнялось новым содержанием, являлось предметом пылких разговоров и мечтаний в кружках передовой молодежи. Позже Пушкин, говоря о Кюхельбекере, вспоминал лицейские разговоры

...о Шиллере, о славе, о любви.

Это была не «тихая слава», а слава гражданской доблести, мужества и героизма. Жизнь выдвигала необходимость воспитания героического характера, способного бороться в тягчайших условиях дикого и жестокого деспотизма за «великие перемены», за великое предназначение России. Это была не абстрактная, а вполне конкретная задача лицейского воспитания. Об этом говорил Куницын*. Об этом же думал директор Лицея Малиновский, когда писал 21 августа 1811 года (еще в ходе подготовки к открытию Лицея): «Выбрать детям лучшие места для упражнений в переводах, отделить по предметам: например, неустрашимости в бедах

* О педагогической деятельности Куницына см. в главе «Лицейский «способ учения».

и твердости духа. «La résolution d'un homme sensé ne s'affaiblira point par la crainte, en quelque temps que ce soit» * 50.

Неустрасимость, твердость духа должна быть осознанной, проявляться не в словах, а в делах. Эта идея раскрывается в замечательном рассуждении Малиновского, которое мы взяли эпиграфом к главе «Лицейский «способ учения»: «Раскрывши мысленность, приучать к различению добра и зла и чтоб не делали без рассуждения и не говорили и не мыслили, поелику всякая мысль открывается через прехождение в желание, а далее в дело»⁵¹.

Рядом с главными инициаторами и руководителями лицейского воспитания и образования при комплектовании штатов оказались преподаватели и наставники, частью открыто враждебные их взглядам, как Гауэншильд или Фролов (о них и о борьбе с ними в Лицее мы скажем ниже), частью политически несамостоятельные. К числу последних принадлежал профессор истории Кайданов, товарищ Куницына по Геттингенскому университету. Впоследствии он превратился в бесцветного, благонамеренного историка (подобно пресловутому Иловайскому). Но иным был он в 1810-е годы. Под влиянием общего направления в Лицее пушкинской поры лекции Кайданова первых шести лет во многом поддерживали (как мы увидим далее) принципы, выраженные Малиновским и Куницыным.

4

Не было ли, однако, перелома в направлении Лицея после смерти Малиновского в 1814 году? Для ответа на этот вопрос необходимо восстановить некоторые факты, важные для воссоздания подлинной картины лицейской жизни.

Как известно, после смерти Малиновского и временного безначалия директором Лицея был назначен в 1816 году бывший директор Педагогического института Егор Антонович Энгельгардт. С его именем принято связывать якобы имевшее место изменение идеологиче-

* Решимость разумного человека от опасений ни при каких условиях нисколько не ослабеваает (*франц.*).

ского направления в Лицее. Даже Ю. Н. Тынянов, весьма критически относившийся к старому пушкиноведению, называет Энгельгардта не более не менее как «ставленником Аракчеева».

Ю. Н. Тынянов пишет: «В последние *полтора года шестилетнего* лицейского курса Энгельгардт, конечно, не мог изгладить следов предшествующих *четырёх с половиной* лицейских лет...» Таким образом, речь идет о том, что новый директор ставил своей целью изменить в корне направление, господствовавшее в Лицее. Между тем факты полностью опровергают такого рода утверждения. 1816—1817 годы были годами самой интенсивной идейной жизни лицейстов. Вопрос о позиции второго директора очень важен⁵².

Энгельгардт не внес никаких существенных изменений в систему воспитания и преподавания и, более того, горячо отстаивал ранее принятые принципы. Эти принципы были изложены в речи Куницына на открытии Лицея, которая, по свидетельству Пушкина, восхитила Энгельгардта. Показательно отношение его к самому передовому профессору Лицея — Куницыну. В последние годы пребывания Пушкина в Лицее, когда Энгельгардт был директором, Куницын читал важнейшие части курсов политических наук. Энгельгардту было хорошо известно, о чем говорил Куницын. В письме В. Кюхельбекеру Энгельгардт писал, что «Куницын на кафедре беспрепятственно говорил против рабства и за свободу». Когда Куницын (в 1820 году) оставил Лицей, чтобы развернуть лекционно-пропагандистскую деятельность в Петербурге, Энгельгардт заявил, что он «во всяком отношении заслуживает в полной мере признательность и благодарность Лицея за пользу, принесенную им в течение девяти лет воспитанникам сего заведения как учением своим, так и особенно важным влиянием, которое он имел на образование нравственности их». Когда же книга Куницына «Право естественное» была конфискована и он подвергся гонениям, Энгельгардт горячо ему сочувствовал и резко противопоставлял преподавателям реакционного направления. В письме бывшему лицеисту Ф. Ф. Матюшкину он писал: «Естественное право» Куницына... конфисковано и запрещено, как книга пагубная, разрушающая веру христианскую и расторгающая все связи семейственные и государственные... Ку-

ницын от всех должностей по Министерству народного просвещения отставлен и запрещено ему что-либо и где-либо преподавать... Жаль! а Куницын умел учить и добру — учил! а люди презрительные во всяком отношении и ума и сердца, например Гауэншильдты, Карцовы и им подобные, остаются и награждаются»⁵³.

О том, что Энгельгардт и не думал менять общего направления в Лицее, красноречиво говорит отчет конференции Лицея о шестилетнем обучении воспитанников, читанный 9 июня 1817 года на торжественном акте выпуска лицеистов (в том числе Пушкина). В отчете (явно противоположном по своей идейной направленности официальной системе воспитания) отмечается, что «философическое учение нравственности», преподававшееся в Лицее, «заимствовано было из самого существа природы человеческой и из свойства общежития, а не из других каких-либо источников более отвлеченных, которые нередко в самой нравственности заставляют сомневаться и почитать ее собранием закоренелых, без точного исследования принятых обычаев и правил». Здесь явно имеется в виду «естественное право», противопоставленное абсолютистской государственной догме. Далее говорится, что изложение русского законодательства велось в критическом духе. Преподаватели не скрывали от лицеистов «злоупотребления, в суде и расправе встречаемые, равно как источники оных и последствия; ибо в храме просвещения и образования одна только истина должна управлять устами наставника; она только может обнаружить всю гнусность неправоты, мздоимства и лицепрятия». Программа политических наук заключалась в том, чтобы доказать истину: «Как счастье народов зависит от благоразумного управления и благих нравов, так и бедственная судьба постигает их или за всеобщее развращение, или за пороки и ошибки их правителей». Поэтому и в преподавании истории отечественной, как утверждается в отчете, не было искажения правды. В частности, подчеркивалось, что «суд и расправу могли находить только вельможи и люди, близкие ко двору царскому, а простой народ страдал от угнетения сильных». Вместе с тем в ходе преподавания «возвеличивались мужи, которые возымели смелость вооружиться противу предрассудков, укоренившихся в течение многих столетий, противу злоупотреблений, обратившихся в

обычай и, так сказать, в закон непреложный». Пример «сих великих гениев» должен возродить охоту «содействовать успехам блага общего». В отчете имеются сдержанные фразы об успехах правительства в образовании народа (с оговоркой: «Остается сделать еще большее»). Но все содержание отчета говорит об итогах воспитания именно в том духе, который стремились придать Лицею Малиновский и Куницын⁵⁴.

Нет, конечно, никаких оснований отождествлять политические взгляды Энгельгардта с взглядами этой группы. Энгельгардт не принадлежал к тем людям, которые активно влияли на развитие антиправительственного духа. Его можно назвать не более как попутчиком оппозиционных кругов, человеком, находившимся под их влиянием. В записке декабриста Штейнгеля рассказано о разговоре Энгельгардта с Александром I, когда Энгельгардт «осмелился заметить» царю во время военного парада: «Время приняться за устройство гражданской части» (то есть за реформу государственного управления)⁵⁵. В Лицее на позицию Энгельгардта оказывал большое положительное влияние Куницын (кстати, в 1816—1817 годы Куницын был конференц-секретарем, то есть вторым человеком после директора). Энгельгардт по своему политическому кругозору не идет, как уже было сказано, ни в какое сравнение с такими выдающимися людьми, как Малиновский или, тем более, Куницын. Он безгранично верил в «доброту» и в «искренность» либеральных фраз Александра. Тем не менее Энгельгардт оказался связанным с теми учреждениями, которые в грибоедовском «Горе от ума» устами Фамусова названы рассадником «безумных мнений». Этой же точки зрения придерживаются в комедии и другие «столпы» общества. Так княгиня восклицает:

...в Петербурге институт
Пе-да-го-гический, так, кажется, зовут:
Там упражняются в расколах и безверьи
Профессоры!!

А Хлестова говорит:

И впрямь с ума сойдешь от этих, от одних
От пансионов, школ, лицеев, как бишь их,
Да от ланкарточных взаимных обучений*.

* Подчекнуто мною. — Б. М.

Энгельгардт до службы в Лицее был директором Педагогического института. Он был также членом общества ланкастерских взаимных обучений.

Директорство Энгельгардта в лицее сопровождалось непрерывными и острыми столкновениями с Министерством просвещения. О своей вражде к реакционерам — гонителям просвещения он часто упоминает в письмах: «Нас треплют и теребят систематически и всеми способами, какие только ни придумают почтеннейшие Руничи, Магницкие, Поповы, Гауэншильды, Карцовы, Калинич и почтенный их покровитель (то есть министр просвещения Голицын. — *Б. М.*)», — писал он Вольховскому⁵⁶.

Голицын в записке, предназначенной для Александра I, обвинял Энгельгардта в том, что он допускает «вреднейшие беспорядки по части учебной и нравственной». С возмущением говорил Голицын об оценке Энгельгардтом «Права естественного» Куницына как «превосходного в сем роде творения», в то время как эта книга заключает «все развратительные правила новейшей философии». Далее указывается, что Энгельгардт противился чтению воспитанникам «священного писания». В заключение министр писал, что «образование вверенных Лицею юношей из знатнейших дворянских фамилий направляется вовсе не к той цели, которую государь император имел в виду». Он, Энгельгардт, противился также военизации Лицея, попыткам связать лицеистов строгими дисциплинарными правилами, выступал против предложений о дежурствах юношей при дворе. По словам Пущина, Энгельгардт, отвергая эти предложения, заявил, что «придворная служба будет отвлекать от ученых занятий и воспрепятствует цели учреждения Лицея». К этому Пущин добавляет: «Между нами (лицеистами. — *Б. М.*) мнения насчет этого нововведения были разделены: иные, по суетности и лени, желали этой лакейской должности, но дело обошлось одними толками». Возражал Энгельгардт и против каких-либо привилегий для выходцев из аристократии. Так, он отклонял предложения государя и министра о преимуществах при поступлении в Лицей для молодого графа Шереметева, отставшего «по наукам». «Изъятия из хороших правил всегда вредны, — писал Энгельгардт, — а это изъятие преимущественно вредно: богатство Шереметева не даст ему никакого права на сие

преимущество, и потому поступление его не должно иметь места».

Энгельгардт отстаивал перед министерством демократические правила внутреннего распорядка в Лицее и пансионе. В этих правилах, между прочим, особенно интересны три пункта:

«Все воспитанники равны как дети одного отца и семейства, а потому никто не может презирать других или гордиться перед прочими чем бы то ни было. Если кто замечен будет в сем пороке, тот занимает самое нижнее место по поведению, пока не исправится».

«Запрещается воспитанникам кричать на служителей или бранить их, хотя бы они были их крепостные люди».

«Только предписанных услуг можно требовать от служителей».

Правила получили резкий отзыв в ученом комитете Главного управления училищ⁵⁷.

В результате всей этой линии, которую проводил Энгельгардт, направление Лицея прочно связывалось в правящих кругах с его именем. Этому способствовала и попытка Энгельгардта организовать в Лицее (в 1821 году) Общество друзей полезного с публичными чтениями, включавшими острые политические темы (общество было запрещено министром). Энгельгардту не доверяют: за ним настороженно следят. Гауэншильд доносит на него в министерство. 10 сентября 1820 года Энгельгардт пишет Матюшкину: «Князь (министр просвещения Голицын. — Б. М.) мною весьма недоволен и, находя, что я весьма дурно воспитываю вверенную мне молодежь, предписал, особым секретным орденом священнику Кочетову пещись о исправлении воспитанников, о искоренении в них зла и пр. Мне объявлено, что тесная и дружеская связь между мною и воспитанниками никуда не годится... Словом, мой друг, я оставляю лицей и все те прекрасные мечты, с которыми переселился я сюда». В 1822 году Лицей был разгромлен и передан в военное ведомство, а в 1823 году Энгельгардт увольняется. Карьера его закончена: он уходит в отставку. На его место был назначен аракатеевский ставленник генерал-майор Гольтгоер (бывший директор кадетского корпуса — «дворянского полка»). В 1829 году Николай I в письме цесаревичу высказал восхищение «прекрасным надзором»

Гольтгоера за Лицеєм и надежду на то, что «ученики, подобные выпущенным во вкусе Энгельгардта, не будут более выходить из Лицея»⁵⁸.

Обширная переписка, которую Энгельгардт до конца своей жизни вел с лицеистами, рисует его как человека хотя и несколько ограниченного, но все же защищающего лицейскую традицию лучшего периода. Ограниченность Энгельгардта сказалась, в частности, и в том, что *всех* лицеистов, выпущенных до разгрома Лицея, он пытался, независимо от их взглядов, объединить в единую «лицейскую семью»: почти все они были для него равны, все они были для него «родными чугуниками» (в знак неразрывности лицейской семьи он роздал воспитанникам чугунные кольца). Он радовался продвижению «чугуников» по служебной лестнице департаментов и тщательно фиксировал полученные ими награды и повышения в чинах. В этом, правда, отчасти сказывалось желание реабилитировать себя после появившихся в иностранной печати сведений о том, что чуть ли не все лицеисты оказались участниками тайных обществ. Отсюда же и казенно-благонамеренные фразы в его письмах; читая их, не нужно забывать о свойственной Энгельгардту боязни перлюстрации и слежки (в этом он сознался в посланном с оказией письме Вольховскому: «Меня так напугали перечитыванием писем на почте и пр. и пр., так нарекомендовали крайнюю осторожность во всем и пр. и пр.»). И все же Энгельгардт вел переписку с осужденными декабристами — Пушным и Кюхельбекером. Его упоминания о них неизменно полны сочувствия. Энгельгардт в своих письмах применялся к адресату, но даже А. М. Горчакову, человеку вполне официального курса, он 26 ноября 1827 года писал: «Не могу удержаться, чтобы не сообщить вам о маленьком экспромте Пушкина по случаю лицейского собрания 19 октября. Вот оно:

Бог помочь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы,
И на пирах разгульной дружбы,
И в сладких таинствах любви!
Бог помочь вам, друзья мои,
И в счастье, и в житейском горе,
В стране чужой, в пустынном море
И в темных пропастях земли.

В нем есть слово для каждого, даже для несчастного Жанно (лицейское имя приговоренного в вечную каторгу

Пущина. — Б. М.); кто-то видел его при проезде через Ярославль и уверил нас, что он нисколько не изменился и что он выносит свою участь с покорностью и мужеством». В другом письме Горчакову (13 августа 1831 года) Энгельгардт, со скорбью перечисляя потери среди лицейстов, упоминает «двух несчастных, мертвых морально, Пущина и Кюхельбекера»⁵⁹.

Пушин, со своей стороны, относился к Энгельгардту с большим уважением. До ареста он часто ездил к нему, а впоследствии с благодарностью вспоминал о внимании бывшего директора Лицея к нему и его родным. В письме И. В. Малиновскому (сыну первого директора Лицея) Пушин писал: «Изредка утешает меня старый наш директор необыкновенно милыми письмами. От искреннего сердца ему спасибо. Хлопоты домашние и занятия не мешают ему радовать меня; надобно быть здесь (в Сибири. — Б. М.), чтобы вполне оценить дружеское внимание, за которое истинно не умею быть довольно благодарным». Таким образом, и в годы наихудшего террора Энгельгардт нашел пути для переписки с Пушиным. В воспоминаниях Пушин говорит: «В своеобразной нашей тюрьме я следил с любовью за постепенным литературным развитием Пушкина... В письмах родных и Энгельгардта, умевшего найти меня и за Байкалом, я не раз имел о нем некоторые сведения. Бывший наш директор прислал мне его стихи «19 октября 1827 года» (далее приводятся стихи Пушкина)⁶⁰.

В письмах лицейстам Энгельгардт много говорит о своем тяжелом самочувствии, вызванном разгромом Лицея и общей обстановкой после катастрофы 1825 года. Он вспоминает о Лицее как о «покойнике», по которому надо служить панихиду, с возмущением отзывается о введенной там системе военной муштры и шпионажа. В особенности интересно письмо Энгельгардта к Вольховскому от 27 июня 1836 года. Он с горечью пишет о «бесчувственной нравственной атмосфере столицы», «нравственной тундре» и «душевном холоде, где зябнут и сердце и душа», о «ячестве» «великосветских людей», которые «никого не любят, кроме себя, не имеют иной на свете цели, кроме своей мнимой пользы». Мне что-то очень не по сердцу то, что вижу и слышу, — скучно, пошло, холодно. Пора бы, право, надеть дощатый халат да лечь отдохнуть». Всей этой атмосфере Энгельгардт противопостав-

ляет воспоминания о лицеистах, «умевших еще чувствовать благородный восторг, не стыдящихся показывать, что у них сердце и чувства», «все вообще истинные добродетели наши, которые нынешние великосветские, так называемые образованные люди, знают только по имени». Здесь опять-таки видна идеализация Энгельгардтом всех «лицейских». Но несомненно одно: Энгельгардт, при всех его слабостях, ощущал себя с полным основанием в числе противников реакции и александровского и николаевского времени⁶¹.

На чем же основаны, однако, утверждения о ретроградности позиций Энгельгардта?

Ю. Н. Тынянов приводит в пользу своего мнения три довода: 1) Энгельгардт — «ставленник Аракчеева»; 2) Он стремился воспитывать из лицеистов «des cavaliers galants et des chevaliers servants»; * 3) Энгельгардт и Пушкин были антагонистами⁶².

Разберемся в каждом из этих доводов.

Версия о «ставленнике Аракчеева» основана *только* лишь на том, что Энгельгардт был вызван 12 января 1816 года к Аракчееву по поводу своего назначения директором Лицея. Этот факт известен из воспоминаний сына Энгельгардта — Владимира. Конечно, для биографии Энгельгардта было бы выигрышной, если бы переговоры с ним вел не временщик, соприкосновения с которым было достаточно для опорочения любого человека. Но через Аракчеева как фактического руководителя Государственного совета проходила тогда подготовка дел для «высочайшего утверждения» во всех более или менее существенных должностях; директор Лицея назначался также только указом самого царя. Поэтому сам по себе вызов к Аракчееву еще не дает оснований для обвинения. Заключение, что вызванный был его «ставленником», не обосновано (иначе пришлось бы причислить к таким «ставленникам» немалое число декабристов, проходивших при утверждении в разных должностях также через Аракчеева). Но из того же источника, на который Тынянов опирается в своих рассуждениях, можно извлечь документ, ясно показывающий, что вызов Аракчеевым Энгельгардта никак его опорочить не может. Тогда же, 12 января 1816 года, в кабинете Аракчеева Энгельгардт напи-

* Галантных кавалеров и дамских угодников (франц.).

сал записку для передачи лично царю, — документ, в те времена почти беспрецедентный по независимости тона: Он соглашался принять директорство только при условии предоставления ему полной независимости и уничтожения существовавшей тогда системы строгого надзора за Лицеєм (то есть требовал большей свободы действий директора, чем это было до него!). В этой записке Энгельгардт писал:

«Место, мне всемилостивейше предлагаемое, по предмету занятия в оном, более всякого другого в государстве, соответствует моим способностям и любимым наклонностям. С радостью посвятил бы я все свои силы, всю жизнь свою на усовершенствование заведения, которое, находясь под непосредственным покровительством е. в., могло бы быть возведено на высокую ступень совершенства. Но обстоятельства, здесь неудобноизлагаемые, по нынешнему положению, непрерывно стесняют начальника в скором принятии мер, необходимых для нравственного и физического улучшения заведения и воспитанников. Если начальник учебного заведения честный человек, если признан в полной мере достойным возлагаемой на него доверенности, то должен он пользоваться доверенностью полною; он должен быть освобожден от всякой мелочной и раздробленной зависимости, налагающей беспрестанно преграды свободному его действию. Он должен быть в заведении как отец семейства и подобно ему управлять. При такой только независимости может существовать то единство, то согласие в общем, без коих никакое нравственное заведение не может иметь основательного успеха.

Итак, если его императорскому величеству угодно, чтоб я управлял должностию директора Лицея не так, как простой, одной наружности держащийся наемник, но как человек, полагающий всю свою душу и сердце в исправлении священной и любезной ему обязанности, то осмеливаюсь представить следующие предварительные начала:

1-ое. Управление Лицеєм сделать совершенно не зависящим от всякого постороннего и раздробительного влияния так, чтобы директор, не выходя из общих пределов законных, имел право распоряжаться во всем по усмотрению и совести своей, отдавая в конце каждого года отчет в управлении своем и подвергая себя строжайшей, перед богом и царем, ответственности за всякое злоупотребление своей власти.

2-ое. Предоставить директору право избирать и определять себе в сотрудники тех людей, которых он считает способнейшими к общему делу, а равномерно удалять тех, которые окажутся неспособными или вредными.

3-ье. Предоставить директору право, не выходя из предела назначенной на содержание заведения суммы, давать оной, по усмотрению надобности, временное направление на ту или другую ветвь внутреннего хозяйства.

Я чувствую, что требуемое мною чрезвычайно много в себе заключает; я не смею почти надеяться, чтобы на такое изъятие воспоследовало высочайшее соизволение, но не менее того я почел долгом сказать то, что предписывает моя совесть»⁶³.

Что же случилось в дальнейшем? Энгельгардт, как мы видели, стремился в своей деятельности директора сохранить уклад, который был в Лицее до него, сохранить «независимость». Отсюда его постоянные столкновения с Министерством просвещения, а затем с Управлением военно-учебных заведений, подчиненных военному министру, то есть Аракчееву. Все это, как мы знаем, завершилось аракечевским разгромом Лицея и увольнением Энгельгардта.

Так рушится первый из доводов о «ретроградности» Энгельгардта.

Второй довод — о том, что он стремился воспитать из лицеистов «галантных кавалеров и дамских угодников», — основывается главным образом на биографии В. Д. Вольховского, составленной в 1885 году Е. А. Розеном. Источник более чем сомнительный во всех отношениях. Автор утверждает, что смерть Малиновского отрицательно отразилась на развитии Пушкина, и вот почему: если бы Малиновский довел первый выпуск до конца, «Пушкин был бы нравственнее и в его поэзии просвечивал бы более дельный и, главное, нравственный характер». Надо ли доказывать полную негодность этого рассуждения Е. А. Розена, который, очевидно, думал возвысить своего дальнего родственника, Малиновского, странным способом — дискредитацией Энгельгардта (заодно он повторил старые домыслы реакционеров о недостатке «дельности» и «нравственности» у Пушкина)⁶⁴.

Куда более авторитетной является характеристика, которую Энгельгардту дал декабрист И. И. Пущин. Рассказывая о «пестроте» лицейского быта, он отмечал:

«С назначением Энгельгардта в директоры школьный наш быт принял иной характер: он с любовью принялся за дело. При нем по вечерам устроились чтения в зале (Энгельгардт отлично читал)». Пущин говорит и о той стороне воспитательной работы директора, которую Тынянов, вслед за Розеном, называл «воспитанием дамских угодников», но которая на деле представляла собою нечто иное. По словам Пущина, Энгельгардт стремился воспитать у лицеистов «платонизм в чувствах» и приучить их к «приличию в обращении» с женщинами. Мотивы, которыми руководствовался при этом Энгельгардт, можно понять, только учитывая ту распущенность в нравах, которая, как известно, была свойственна иным из лицейств. Ясно, что речь идет об одной из сторон так называемой «внеклассной» воспитательной работы в Лицее и, конечно, никак не олицетворявшей собой идейного *направления* учебного заведения при Энгельгардте. Для доказательства этого достаточно сослаться на цитированный выше отчет об итогах шестилетнего обучения лицеистов⁶⁵.

Последний довод Тынянова — самый серьезный и сложный: антагонизм между Энгельгардтом и Пушкиным. Попытаемся разобраться в его причинах.

По окончании Лицея Пушкин сделал в альбом Энгельгардта следующую запись:

«Приятно мне думать, что, увидя в книге ваших воспоминаний и мое имя между именами молодых людей, которые обязаны вам счастливейшим годом жизни их, вы скажете: в Лицее не было неблагодарных.

*Александр Пушкин»*⁶⁶.

Из этой записи нельзя сделать никаких выводов: судя по тону, она является скорее актом вежливости. Главным источником, свидетельствующим о взаимоотношениях Пушкина и Энгельгардта, остаются самые достоверные из всех мемуаров об этой поре — мемуары Пущина, где мы читаем: «Для меня оставалось неразрешенною загадкой, почему все внимание директора и жены его отвергались Пушкиным: он никак не хотел видеть его в настоящем свете, избегая всякого сближения с ним. Эта несправедливость Пушкина к Энгельгардту, которого я душою любил, сильно меня волновала. Тут крылось что-нибудь, чего он никак не хотел мне сказать; наконец, я перестал настаивать, предоставляя все времени. Оно одно может

вразумить в таком непонятном упорстве». Но упорство осталось навсегда: вопреки надеждам Пушкина, время его не разрушило. Однажды Энгельгардт, еще в Лицее, в беседе с Пушкиным, казалось, «помирился» с ним, нашел общий язык, но, войдя через несколько минут в эту же комнату, увидел в руках у Пушкина быстро брошенную карикатуру на него. Много лет спустя Энгельгардт писал Вольховскому: «Пушкина я никогда не вижу; он даже на улице избегает встречи со мною»⁶⁷.

Слова Пушкина о том, что причины холодного отношения Пушкина к Энгельгардту загадочны, во многом верны и сегодня. Но все-таки мы располагаем рядом фактов, которые позволяют нам в какой-то мере понять эту причину.

Дело в том, что отношение самого Энгельгардта к Пушкину было противоречивым. Отдавая должное дарованию юного поэта, он вместе с тем многого не понимал и не принимал в нем.

В период директорства Энгельгардта целая цепь случайностей и намеренных «шалостей» Пушкина создала у пуритански настроенного и педантичного директора одностороннее, неверное представление о поэте. Богатство, сложность, многообразие внутреннего мира Пушкина (отразившегося и в его лицейских любовных элегиях), восприимчивость и впечатлительность юного поэта — все это было заслонено для Энгельгардта теми выходками экспансивного юноши, которые с точки зрения ученического благонравия представлялись директору попросту ужасными. Придя в Лицей, Энгельгардт сразу же столкнулся с устойчивой характеристикой Пушкина как «повесы» («легкомыслен», «повеса» — значилось в графе о поведении уже в самой ранней таблицы Лицея; «повесой» иронически назвал себя и сам Пушкин). Последовавшие затем инциденты только лишь способствовали созданию превратного представления о Пушкине-лицейсте. Особенный шум произвела история с фрейлиной императрицы княжной Волконской. Однажды Пушкин в темных переходах царскосельского дворца принял фрейлину за горничную Наташу и со свойственной ему стремительностью бросился ее целовать. История дошла до царя. Как рассказывает Пушкин, Энгельгардт всячески старался сгладить вину Пушкина и уладил историю, но происшествие не оста-

лось единичным. Молодая, миловидная француженка Мария Смит, жившая у Энгельгардта и незадолго перед тем овдовевшая, показала директору эротическое послание Пушкина «К молодой вдове». Тема послания — страстное увещание вдовы: супруг ее почил вечным сном, и его «завистливая тень» «близ любовников не станет». По словам В. Гаевского, это послание явилось «главной причиной» неприязненных отношений между Энгельгардтом и Пушкиным. К тому же до Энгельгардта доходили сведения о колкостях Пушкина, о насмешливых и шутливо-эротических стихах (вроде стихотворения «От всенощной вечер идя домой...», которое увидел у Пушкина профессор Кайданов). Все это опять-таки никак не выражало существа Пушкина и являлось внешним проявлением живого, насмешливого, темпераментного характера юноши. Но Энгельгардт, с первых дней директорства занявший позицию блюстителя нравственности, оскорбленный пренебрежением и нетерпимостью Пушкина, не сумел отделить всего этого от многосторонней, гениальной личности юного поэта. С другой стороны, Пушкина раздражали бесконечные назидания директора, постоянные упреки в лености и легкомыслии, которые воспринимались им как придирки⁶⁸.

Энгельгардт был человеком «одного измерения». Как отметил Пущин, «Егор Антонович принимает только *хорошо и худо*», то есть по принципу «или-или», игнорируя сложности и противоречия. В заметках о лицеистах, которые Энгельгардт набросал лично для себя на немецком языке в марте 1816 года, он писал о Пушкине: «Его высшая и конечная цель — блистать, и именно поэзией. На этом он основывает все и с любовью занимается всем, что с этим непосредственно связано». Признавая, следовательно, страсть к поэзии как главную отличительную особенность Пушкина, Энгельгардт, не видя ничего дальше лицейских табелей об успеваемости, утверждает, что «Пушкину никогда не удастся дать своим стихам прочную основу, так как он боится всяких серьезных занятий». Из «безрелигиозности» Пушкина Энгельгардт сделал вывод о том, что «его сердце холодно и пусто», и, наконец, с возмущением отметил, что он «частично, а то и совершенно наизусть» знал эротические произведения французской литературы, еще «когда поступил в Лицей». В отличие от других верных и даже

тонких энгельгардтовских характеристик лицейстов (мы приведем их ниже, в главе «Разные пути») характеристика, которую он дал Пушкину, неумна, несправедлива и совершенно не дает представления о внутреннем мире юного поэта.

Но следует отметить, что эти, написанные только для себя, заметки Энгельгардт никак не использовал в лицейской аттестации: их впервые процитировал в 1863 году В. Гаевский*, располагавший материалами из архива Энгельгардта. Заметки считались утерянными, но обнаружены нами в архиве Института русской литературы. Характеристики всех лицейстов пушкинского выпуска (причем даже таких «примерных учениках», как Горчаков) написаны Энгельгардтом с неслыханной в Лицее резкостью и полной откровенностью, совершенно противоположной благополучию и сглаженности обычных официальных отзывов о воспитанниках. Очевидно, Энгельгардт как педагог ставил своей задачей выяснить для себя самого пороки и недостатки лицейстов, на которые следует обратить внимание (отметим, что заметки написаны им через два месяца после вступления в должность директора). Эти характеристики он так и оставил достоянием своего личного архива. Более того, как рассказывает Пущин, Энгельгардт отверг принятое еще до его директорства решение конференции о том, чтобы запись Пушкина за шалости в «черную книгу» Лицея была учтена при выпуске. По словам Пущина, Энгельгардт «ужаснулся и стал доказывать своим сочленам, что мудрено допустить, чтобы давнишняя шалость, за которую тогда было взыскано, могла бы иметь влияние и на будущность после выпуска. Все тотчас же согласилось с его мнением, и дело было сдано в архив»⁶⁹.

Впоследствии Энгельгардт несколько изменил свою первоначальную оценку Пушкина. Имя поэта часто мелькает в письмах Энгельгардта к бывшим лицейстам — Матюшкину, Вольховскому и др. Он сообщает

* В Гаевский дал искаженный перевод энгельгардтовской характеристики и, в частности, совсем выпустил слова о том, что Пушкин «основывает все на поэзии» и с «любовью занимается всем, что с этим непосредственно связано». Не использовал Гаевский и те места в характеристике Энгельгардтом Яковлева, где говорится о Пушкине и, между прочим, о его склонности к сатире.

новости о жизни Пушкина, распространяет его стихи «19 октября 1827» (содержащие привет декабристам Пущину и Кюхельбекеру). Встречаются в этих письмах суждения и о литературной деятельности Пушкина; но и в этих суждениях видны отзвуки былой обиды, а также и непонимания его личности.

Приведем несколько выдержек о Пушкине из неизданных писем Энгельгардта к А. М. Горчакову.

Из письма 28 ноября 1820 года:

«...Пушкин в Бессарабии и творит там то, что творил всегда: прелестные стихи, и глупости, и непростительные безумства. Посылаю вам при этом одну из его последних пьес, которая доставила мне безграничное удовольствие; в ней есть нечто вроде взгляда в себя *. Дал бы бог, чтобы это не было только лишь на кончике пера, а в глубине сердца. Когда я думаю о том, чем этот человек мог бы стать, образ прекрасного здания, которое рушится раньше завершения, всегда представляется моему сознанию»⁷⁰.

Из письма 13 августа 1831 года:

«Забыл сказать вам, что Пушкин женился; говорят, что он стал более благоразумным, но я в этом сомневаюсь. Он все еще занимается поэзией, он несомненно наш первый поэт, но он не создает ничего классического, ничего законченного **. Его последнее произведение, «Борис Годунов», содержит места прелестные, возвышенные, но все в целом недостойно его. Жаль»⁷².

В этих отзывах заметно *внешнее* стремление к объективности («несомненно наш первый поэт»), но тон заставляет вспомнить о возникшей еще в Лицее взаимной холодности.

* О каком произведении идет речь, неизвестно.

** Слова о «классическом» выражают архаичское убеждение Энгельгардта, что лирические стихи, в отличие от поэм, дело несерьезное. Ср. в его же письме к Матюшкину от 7 апреля 1830 года: «Пушкин... поехал в деревню с намерением доказать, что он еще в состоянии писать, как прежде писывал «Руслана и Людмилу», «Пленника», «Фонтан»; дай бог в добрый час»⁷¹. Вообще же литературные мнения Энгельгардта (в том числе и о произведениях Пушкина) самостоятельностью не отличаются.

Однако Энгельгардт никогда не переносил свои личные отношения к Пушкину на отношения общественные или официальные. Более того, с именем Энгельгардта в какой-то мере связана история хлопот за Пушкина перед ссылкой 1820 года.

И. Пущин, узнав о нависшей над Пушкиным беде, поехал в Царское Село к Энгельгардту для того, чтобы просить заступничества за Пушкина (Энгельгардт в царскосельских садах нередко встречал царя).

«Директор рассказал мне, — вспоминал Пущин, — что государь (это было после того, как Пушкина уже призывали к Милорадовичу, чего Энгельгардт до свидания с царем не знал) встретил его в саду и пригласил с ним пройтись.

«Энгельгардт, — сказал ему государь, — Пушкина надобно сослать в Сибирь: он наводнил Россию возмутительными стихами; вся молодежь наизусть их читает. Мне нравится откровенный поступок его с Милорадовичем *, но это не исправляет дела».

Директор на это ответил: «Воля вашего величества, но вы мне простите, если я позволю себе сказать слово за бывшего моего воспитанника; в нем развивается необыкновенный талант, который требует пощады. Пушкин теперь уже — краса современной нашей литературы, а впереди еще большие на него надежды. Ссылка может губительно подействовать на пылкий нрав молодого человека. Я думаю, что великодушие ваше, государь, лучше вразумит его»⁷³.

Энгельгардт считал ссылку Пушкина, как и преследование Кюхельбекера (высылку из Парижа за лекции), несправедливой. Об этом он писал в одном из своих писем 1821 года (уже после ссылки Пушкина): «Прицепились к Пушкину, теперь прицепятся к Кюхельбекеру»⁷⁴.

Энгельгардт нашел в себе смелость оправдывать Пушкина даже в официальной записке министру просвещения о состоянии Лицея (1821). Он писал Голицыну: «Несчастный, увлекаемый пылкостью молодого

* Подразумевается известный эпизод, когда Пушкин, будучи вызванным к петербургскому генерал-губернатору Милорадовичу, записал сам же свои антиправительственные стихи, получившие в то время широкое распространение.

таланта, слишком рано развитого и еще до моего при-
бытия безрассудными хвалами родственников превозне-
сенного, впал в пагубные заблуждения, относящиеся,
впрочем, более к голове, нежели к сердцу его». Упомянув здесь же о «благости государя» (то есть о за-
мене Пушкину Сибири ссылкой на юг — результате
заступничества друзей поэта и своего же ходатайства
за бывшего лицеиста), он заключал: «Пушкин призрен
и может быть спасен!»⁷⁵

Таков, в свете документальных материалов, облик
Энгельгардта как второго директора Лицея и своеобра-
зие отношений, сложившихся между ним и Пушкиным.
При всех своих слабостях, односторонности Энгельгардт
активно сопротивлялся наступлению реакции на Лицей,
стремился сохранить основы лицейского воспитания и
за это был отстранен. Утверждения о том, что он был
«ставленником Аракчеева» и стремился изменить на-
правление Лицея, являются, как мы видели, голослов-
ными и опровергаются фактами.

Неверное представление о роли и позиции Энгель-
гардта искажает картину Лицея в целом. Поэтому ле-
генда об Энгельгардте мешает воссозданию подлинной
истории Лицея и должна быть отброшена так же, как и
существовавшая в литературе легенда об истории воз-
никновения Лицея, о первом директоре Малиновском и
о дальнейшей судьбе учебного заведения, в котором
учился Пушкин.

Чему же он там учился? Что дал ему Лицей? Доку-
ментальные материалы, раскрывающие содержание и
методы лицейского воспитания и преподавания, позво-
ляют отстранить всякого рода домыслы и дать ответы
на эти вопросы.



Глава вторая
ЛИЦЕЙСКИЙ «СПОСОБ УЧЕНИЯ»

Раскрывши мысленность, причать к различению добра и зла и чтоб не делали без рассуждения и не говорили и не мыслили, поелику всякая мысль открывается через прехождение в желание, а далее в дело.

В. Ф. Малиновский.

Изучая смелые политические системы и теории, весьма естественно, что занимающиеся ими желали бы видеть их в своем отечестве.

Декабрист М. А. Фонвизин.

1

«О суета сует и всяческая суета, — о когда выпадет перо из рук твоих, первый писец лицейский! — Глаза потеряешь, увы! то<гда> что будет с <тобой!>» Эта записочка, набросанная бойким почерком неизвестного лицеиста, сохранилась в тетради А. М. Горчакова, однокашника Пушкина, впоследствии канцлера и министра иностранных дел. Но «первый писец лицейский», один из лучших учеников Лицея, не обращал внимания на насмешки товарищей. Результатом его редкостного прилежания явились аккуратно написанные объемистые тетради, в которых содержатся курсы: «Всемирная исто-

рия», «Российская история», «Изображение системы политических наук», «Государственное хозяйство» (то есть политическая экономия), «Энциклопедия прав», «Статистика», «Финансы», «Российский язык», «Введение в эстетику». Таким образом, мы можем получить представление о лекциях, которые Пушкин слушал в Лицее*. Материал этот дает основание судить о том, в какой степени удалось провести в Лицее ту систему идейно-политического воспитания юношества, которая была выработана Малиновским и Куницыным. Правила «доброй методы или способа учения», о которых говорилось в «начертании» Лицея, нашли свое выражение в лекциях. Как отмечалось в составленном Куницыным отчете Лицея за 1811—1817 годы, это был действительно «новый способ образования»¹.

В свете записей Горчакова система лицейского преподавания, несмотря на свои недостатки и слабости, предстает перед нами как *практическое* выражение передовой русской педагогики XVIII — начала XIX века, проникнутой идейностью и свободомыслием. Можно с полным основанием утверждать, что курсы лицейских профессоров представляют собой одно из проявлений преддекабристского национального подъема русской культуры и русской общественной мысли.

В литературе о Пушкине установилась стойкая традиция отрицательной оценки лицейской педагогики. Еще П. В. Анненков писал в 1874 году о «педагогической несостоятельности Лицея», о том, что «все лицейское было забыто воспитанниками и сброшено с себя вместе с мундиром». Из Лицея, как утверждает Анненков, Пушкин выходил, «как большая часть его товарищей, с горячей головой и неосуществившейся мыслью: никакого убеждения, никакого твердого и ясного представления не было добыто ими ни по одному предмету человеческого существования вообще, ни по одному явлению русской жизни в особенности»².

* Извлечения из некоторых курсов («Энциклопедия прав», «Изображение системы политических наук», «Государственное хозяйство»), а также лекции по теории красноречия и эстетике были опубликованы нами в журнале «Красный архив», 1937, № 1. Ограниченные рамки журнальной публикации позволили напечатать только часть этих лекций. Записи других важнейших курсов не опубликованы, и сведения об их содержании даются здесь впервые.

Эта оценка, не подкрепляемая никакими фактами, переключалась и в работы советского времени. Г. Чулков в книге «Жизнь Пушкина» (1938) замечает: «Вся эта громадная программа заранее была обречена на неудачу». Л. Гроссман в книге «Пушкин» выносит Лицею не менее резкий приговор: «Лицейское шестилетие мало дало Пушкину в плане учебных программ». В качестве доказательства он приводит ничем не обоснованное мнение Мицкевича: «В этом училище, направляемом иностранными методами, юноша не обучался ничему, что могло бы обратиться в пользу народному поэту; напротив, все могло содействовать обратному: он утрачивал остатки родных преданий; он становился чуждым и нравам и понятиям родным. Царскосельская молодежь нашла, однако ж, противоядие от иноплеменного влияния в чтении поэтических произведений Жуковского». Далее Л. П. Гроссман несколько оспаривает мнение Мицкевича, но все же с определенностью говорит: педагогика Лицея была «официальной педагогикой». Между тем известно, что Мицкевич в своих оценках Пушкина и его эпохи допускал, наряду с ценнейшими и тонкими суждениями, также суждения неправильные. Не прав был он и в оценке Лицея. В первой главе мы показали, что в самой идее организации Лицея отразилась насущная потребность русского просвещения. Мы показали также, что эту идею сторонники отстаивали в борьбе с теми людьми, которые стремились закрепить в России худшие из педагогических методов и в особенности систему иезуитских колледжей³.

Рассмотрим теперь тот новый «способ учения», который проводился в Лицее.

Занятия в Лицее начались фактически еще до торжественного открытия. 10 октября Малиновский записал: «Собрался с профессорами посоветоваться о занятиях детей, которые и начались с того же вечера Куницыным и Кайдановым». Принципами лицейской педагогики профессора руководствовались не только во время занятий, но и в повседневных беседах с воспитанниками. (Малиновский в октябрьских записях того же года упоминает о беседах во время прогулок, о совместном обеде с лицеистами и в том числе с Пушкиным). Что касается планов отдельных курсов, то они, так же, как и списки учебных пособий, представлялись на утвержде-

ние конференции («ученого совета») Лицея. По уставу Лицея конференция состояла из профессоров под председательством директора и собиралась не реже одного раза в месяц. Материалы лицейского архива убеждают в согласованности общего направления учебных занятий⁴.

Программа, рассчитанная на шесть лет обучения, поражает своим разнообразием. В ней поименованы: грамматика русского, латинского, французского и немецкого языков, словесность, история российская и всемирная, статистика (так назывался тогда политический и экономический обзор государств мира в их современном состоянии), логика, нравственные науки, политическая экономия, науки математические, физические, военные, изящные искусства. По мере перехода воспитанников в старшие классы программа усложнялась. Такие сложные курсы, как право естественное, публичное, гражданское, политическая экономия, статистика, проходились в четвертом, пятом и шестом классах. Следовательно, наиболее трудные предметы изучались на старшем курсе, когда лицеистам было 16—18 лет. Поэтому встречающееся у некоторых историков мнение о том, что сами эти предметы «недоступны детям», лишено основания, если исходить не из абстрактных умозаключений, а из фактов и документов.

Недостатки лицейской программы теперь назвали бы «многопредметностью». Слабость ее в этом смысле очевидна. Но «многопредметность» можно в известной мере оправдать тем, что люди, выработавшие учебный план, были озабочены скорейшей подготовкой государственных деятелей для России, которую они в ближайшем будущем надеялись увидеть реформированной.

При всей своей пестроте программа обучения была связана общностью основных идей, обличением абсолютизма, прославлением конституционных порядков и «гражданских свобод». Эти идеи проводились в преподавании и истории, и словесности, и изящных искусств. Идея превосходства конституционного правления над монархо-деспотическим и необходимость отмены крепостного права доказывались примерами из истории, обзором положения «современных государств», состоянием финансов и экономики, логическими доводами, апелляцией к «естественным правам», рассужде-

ниями о свободном развитии литературы в эпохи, наиболее благоприятные для расцвета искусств. Осуществление подобных идей на деле могло бы привести только к смене феодально-крепостнического строя буржуазно-капиталистическим. Но в рассуждениях лучших из лицейских профессоров отражались в той или иной степени интересы страждущего народа, в то время лишенного даже самых элементарных человеческих прав.

Особенно большое значение придавалось в Лицее правовым теориям. Это объясняется не только тем, что Куницын и Малиновский считали одним из главных условий переустройства России подготовку «искусных законоведцев». Правовые теории нужны были и для того, чтобы доказательствами «разума», «здорового рассудка», логики подвергнуть критике идеологические основы абсолютизма, феодально-крепостнической системы. Ту же цель преследовало изучение политической экономии, занимавшей немалое место в системе лицейского воспитания.

О пропагандистском, политическом значении этой науки декабрист Н. Тургенев в «Опыте теории налогов» писал: «Занимающийся политической экономией невольно привыкает ненавидеть всякое насилие, самовольство и в особенности методы делать людей счастливыми вопреки им самим»*. Конечно, для рядовых воспитанников иные из предметов были слишком сложными (впрочем, судя по лицейским табелям, «прилежные» ученики даже с посредственными способностями успевали по всем предметам). Но лицейские архивы, письма воспитанников, рукописные литературные журналы показывают, что цель основателей и руководителей Лицея — будить самостоятельную мысль воспитанников, учить их независимости мнений, критическому отношению к действительности — была достигнута. Пример Пушкина в этом отношении особенно показателен. Лицейские профессора при аттестации Пушкина по-

* Это увлечение политической экономией позднее отмечал Пушкин в «Романе в письмах». Один из героев этого произведения писал своему корреспонденту: «Твои умозрительные и важные рассуждения принадлежат к 1818 году. В то время строгость правил и политическая экономия были в моде» «Опыт теории налогов» Н. Тургенева, человека, которого Пушкин очень уважал, был напечатан как раз в 1818 году.

стоянно отмечали «понятливость», «остроту», «остроумие», «замысловатость», «дарования», но в то же время говорили об отсутствии прилежания, о нерадивости, о рассеянности, торопливости и т. п. Это значит, что Пушкин быстро схватывал идеи лекций, их содержание. Его зачастую посредственные отметки были вызваны прежде всего тем, что он упорно отказывался от систематического заучивания курсов. Близко знавший Пушкина П. А. Плетнев, вспоминая о нем, писал: «Природа, кроме поэтического таланта, наградила его изумительной памятью и пронизательностью. Ни одно чтение, ни один разговор, ни одна минута размышления не пропадали для него на целую жизнь... По-видимому, рассеянный и невнимательный, он из преподавания своих профессоров уносил более, нежели товарищи»⁵.

В результате выпускных экзаменов Пушкин получил следующую характеристику: «Оказал успехи: в законе божьем и священной истории, в праве естественном, частном и публичном, в российском гражданском и уголовном праве хорошие; в латинской словесности, в государственной экономии и финансах весьма хорошие; в российской и французской словесности, также в фехтовании превосходные; сверх того занимался историей, географией, статистикою, математикою и немецким языком»⁶.

Конечно, идеология юного Пушкина формировалась не только под влиянием лицейской педагогики: в эволюции поэта первостепенное значение имели впечатления от самой жизни, его острая наблюдательность, размышления о противоречиях действительности, чтение русских и зарубежных писателей, постоянное изучение всех достижений передовой мысли, как предшествовавшей, так и современной ему. Еще в детстве Пушкин знал сочинения запретного Радищева, зачитывался книгами «фернейского философа» — Вольтера, не говоря уж о многих десятках других поэтов, философов, публицистов, деятелей передовой русской культуры, а также представителей французского Просвещения. Но вместе с тем изучение лицейских лекций показывает, что основные идеи шестилетнего лицейского преподавания так или иначе отразились во взглядах Пушкина и его творчестве. Слова Пушкина о том, что Куницыным был заложен «краеугольный камень», находят подтверждение

во всей совокупности материалов, которыми мы теперь располагаем. В дальнейшем же Пушкин быстро перерос даже наиболее передовых своих учителей, но тем не менее значение лицейской педагогики было для Пушкина весьма существенным.

При характеристике лекций лицейских профессоров нужно учитывать, что дошедшие до нас записи А. Горчакова конспективны. Как правило, лицеисты должны были переписывать записи, составленные самими профессорами. Так, например, Куницын заявил в 1816 году на конференции Лицея: «За неимением на русском языке учебной книги права естественного я принужден был преподавать сию науку по собственной рукописи, давая им по временам списывать оную для повторения уроков». При этом Куницын добавлял, что «тетради воспитанников не могут быть во всем исправны». Кроме того, нам известно из воспоминаний лицеистов, что устные рассказы и лекции профессоров изобиловали многими живыми примерами и иллюстрациями. Об этом же говорил Куницын в одном из своих учебных отчетов 1812 года: «Нравственные наставления сопровождаю я изображением особенных примеров, заимствуя оные из древней и новейшей истории, и предлагаю воспитанникам в часы, особенно для того назначенные». Известно, в частности, что много внимания уделяли преподаватели чтению и комментированию реляций в годы Отечественной войны. Но и те записи лекций, которые до нас дошли, создают яркую картину лицейского воспитания⁷.

2

На первое место в лицейском преподавании нужно поставить, конечно, Александра Петровича Куницына.

Как утверждает И. И. Пушин, «Пушкин охотнее всех других классов занимался в классе Куницына», хотя «мало что записывал». Со слов П. А. Плетнева известно, что Пушкин «о лекциях Куницына... вспоминал всегда с восхищением и лично к нему до смерти своей сохранил неизменное уважение»⁸.

От Куницына Пушкин услышал о цели общества, об образах правления, о правах и обязанностях правительства и решающей роли народа в выборе образа правления и установлении законов. Близким всему идейному направлению творчества Пушкина и его мировоззрению были слова Куницына: «...граждане независимые делаютя подданными и состоят под законами верховной власти; но сие подданство не есть состояние кабалы. Люди, вступая в общество, желают свободы и благосостояния, а не рабства и нищеты; они подвергаются верховной власти на том только условии, чтобы она избирала и употребляла средства для их безопасности и благосостояния; они предлагают свои силы в распоряжение общества, но с тем только, чтобы они обращены были на общую и, следовательно, также на их собственную пользу»⁹.

Полный курс лицейских лекций Куницына состоял из двенадцати циклов, в число которых, кроме логики, психологии, этики и других дисциплин, входили: право естественное частное, право естественное публичное, право народное, право гражданское русское, право уголовное, финансовое право.

Куницын начал свое преподавание с наиболее простых предметов. Так, в его отчете за второе полугодие второго учебного года мы читаем: «Сходственно с постановлением о Лицее с 1 дня минувшего августа начал я преподавать нравственность. Сообщив воспитанникам понятия о человеческой воле и о свободе оной, ныне занимаюсь истолкованием главных понятий нравственного добра, как то: самоуправления, нравственного совершенства, симпатии, доброжелательства, справедливости...» Все это сопровождалось «изображением примеров»¹⁰.

Постепенно в дальнейшем вопросы, о которых говорил Куницын, усложнялись. Главные курсы Куницына читались в пятом и шестом классах. Учитывая развитие Пушкина и лицейстов его круга, можно с уверенностью утверждать, что идеи Куницына ими безусловно усваивались.

Пушкин не был одинок в своих интересах к «нравственным наукам». В третьем номере рукописного журнала «Лицейский мудрец» отмечалось: «Теперь в классах говорят о правах естественных». Можно полагать,

что эти разговоры не носили абстрактный характер: учение о «естественном праве» с его идеей народного суверенитета было предметом ожесточенной политической борьбы. Реакционные памфлеты против виднейшего теоретика естественного права Жан-Жака Руссо появлялись еще в конце XVIII века. Даже в 1809 году, когда это учение уже утратило свою новизну, в России была напечатана брошюра «Отрывки из сочинений одного старинного судьи» с приложением замечаний на «Общественный договор» Руссо. В этих замечаниях говорится, что идеи Руссо вызывают «возмутительный дух» и «разливают во все души лютость, своеволие, необузданность». В качестве примера приводится французская революция¹¹.

Оригинальная, своеобразная методика Куницына как педагога сказывается на всех курсах, читанных им в Лицее. Характер непринужденного, живого и в то же время целеустремленного преподавания Куницыным общественных наук виден, например, из такого «нейтрального», казалось бы, и сухого курса, как «Финансы». Ознакомление с тетрадью, содержащей записи этих лекций, говорит, что и здесь Куницын исходил из задачи политического воспитания.

Демократические симпатии Куницына видны уже из афоризмов, встречающихся в этих лекциях: «Богатый человек, несмотря на слабость телесных сил, недостаточность ума, множество имеет средств притеснить бедного»; или: «Против одного богатого надлежит полагать пятьсот бедных». Конечно, самый принцип собственности Куницын несколько не отрицает, оставаясь здесь на почве буржуазного демократизма¹².

Исключительно интересен в этом курсе раздел, трактующий «об издержках в отправлении правосудия». Здесь, в частности, говорится о том, что у «народов-звероловов» (у охотничьих племен) редко бывает судья, ибо «они не имеют собственности, которая возбуждала бы зависть и корыстолюбие». Далее Куницын подымается до критики деспотической власти. Он говорит о злоупотреблении «правом» знатного и сильного, о взяточничестве, о необходимости полной независимости судебной власти от исполнительной. «Свобода человека, чувствование личной безопасности зависит от беспристрастного правосудия», — утверждает в лекциях.

Слушатель подводится к мысли, что абсолютистский принцип образования правительства противоречит возможности такого правосудия, ибо основанием подчинения правительству служат не «превосходство личных достоинств, телесных и душевных», «превосходство лет», но «преимущество породы». А по поводу последнего «преимущества» Куницын иронически замечает: «Кажется в свете не бывало ни одной великой фамилии, коея знатность зависела бы единственно от наследования мудрости и добродетели»¹³.

Политически заостренными являются лингвистические экскурсы Куницына в курсе «Финансы». Рассуждая о несправедливости судебной власти сильного над слабым, он говорит: «В российском языке даже слово «казнь» произошло от казны княжеской; а князь казнит». Любопытна, наконец, и мысль о необходимости отделения школы от государства, которую Куницын проводит в том же курсе «Финансы». Смысл этого ясен: он хочет политической независимости учителя от самодержавного государства (так же как и независимости судебной власти от полицейской). Не только оплата, но и выбор учителей должны быть делом общественным, ибо «когда правительство само избирает учащихся, вверяет им воспитание юношества, определяя за то постоянное жалованье, то учащие не имеют побуждения и ревности к труду». Но тут же Куницын спохватывается: ведь говорит он это, будучи профессором императорского Лицея! Поэтому он делает оговорку: «Исключаются из сего характеры благородные, которые из любви к просвещению стараются распространять свет оного»¹⁴.

Главную идею лекций Куницына можно было бы выразить словами его же статьи «О конституции», напечатанной в «Сыне отечества». В ней утверждалось, что прошли те времена, «когда цари хотели царствовать для себя самих», и что настало время иметь «народных представителей». Задача лекций и заключалась в теоретическом обосновании этой мысли. Ею пронизана «Энциклопедия прав», которую Куницын читал в четвертом — шестом классах (то есть в 1814—1817 годах) и которая начинается с важнейшего предмета — «Права естественного»¹⁵.

В какой степени соотносятся эти лекции с знаменитой книгой Куницына о естественном праве?

Как известно, книга Куницына «Право естественное» была повсеместно конфискована и уничтожена. На заседании ученого комитета отмечалось, что «Марат был искренний и практический последователь сей науки», а книге была дана следующая характеристика:

«По рассмотрении в Главном управлении училищ книги Естественное право, сочинение Куницына, найдено нужным, по принятым в сей книге за основание ложным началам и выводимому из них весьма вредному учению, противоречащему истинам христианства и клонящему к ниспровержению всех связей семейственных и государственных, книгу сию, как вредную, запретить повсюду к преподаванию по ней и при том принять меры к прекращению во всех учебных заведениях преподавания естественного права по началам столь разрушительным, каковы оказались в книге Куницына». Начальству Лицея было сделано «строгое замечание» за допущение книги, «вселяющей в сердца неопытных юношей... дух неповиновения, своеволия и вольнодумства» * 16.

Записи естественного права в лицейской тетради Горчакова существенно отличаются от изданной несколько лет спустя книги под этим же заголовком, отличаются прежде всего своим построением. При издании книги «Право естественное» Куницын воспользовался частью своих составленных для Лицея записок разных курсов, но изменил как расположение разделов, так и содержание ряда глав. В лицейских лекциях многие положения являются более заостренными, чем в книге. Но даже само изменение композиции материала лекций свидетельствует о стремлении преодолеть цензурные препятствия.

* Эта расправа с книгой Куницына вызвала возмущенный отклик Пушкина в «Послании цензору» (1822):

А ты, глупец и трус, что делаешь ты с нами?
Где должно б умствовать, ты хлопаешь глазами,
Не понимая нас, мараешь и дерешь;
Ты черным белое по прихоти зовешь:
Сатиру пасквилом, поэзию развратом,
Глас правды мятежом, Куницына Маратом

Действительно, сравнение Куницына с якобинцем Маратом было преувеличением, но и те идеи, которые развивал Куницын, носили в условиях самодержавно-крепостнической России остро-опозиционный характер.

К примеру, в записках Горчакова есть специальный раздел «О способах приобретать верховную власть в монархии», где утверждается: даже власть монарха (которую тогда трактовали как «предопределенную свыше») зависит исключительно от желания народа, народ после смерти монарха «вправе избрать нового властителя или переменить образ правления», так как самое избрание есть договор. В книге то же содержание введено в раздел с менее острым заглавием — «О монархическом образе правления». Далее в записках Горчакова имеется глава «О республиканских образах правления» с объяснением принципов «демократического» и «аристократического» правления. В книге же отдельно говорится о «демократическом» образе правления и отдельно об «аристократическом»; понятия «республиканское правление» не введено. Изменение это вполне понято, если учесть, что в 1818—1820 годах вопрос о желательности введения в России республиканского правления обсуждался не только в среде тайных обществ, но и в кругах широкой оппозиции. Об этом правительству доносили полицейские агенты. Вводить в книгу раздел «О республиканских образах правления» в этой ситуации было опасно¹⁷.

Все эти изменения, однако, не спасли Куницына. Труд выдающегося для своего времени теоретика государственного права было решено изымать из обращения и сжигать.

И книга Куницына «Право естественное» и лекции свидетельствуют о его высокой одаренности как педагога и теоретика. Нельзя согласиться с существующим в литературоведении мнением, что Куницын был последователем геттингенской школы правовиков. Это мнение основано только на том, что он учился в Геттингенском университете. Но геттингенскую школу теории права во главе с Иоганном Пюттером и Г. Гуго отличает прежде всего консерватизм, филистерское стремление доказать незыблемость существующих порядков, вражда ко всяким переменам, полное игнорирование прав личности. Абсолютно неоправданным является мнение автора «Истории философии права» Н. Коркунова, который в 1898 году писал: «Напечатанные произведения Куницына не представляют ничего выдающегося. Его «Право естественное» (2 тома, 1818 и 1820) толковое и талантливое изложение Руссо и Канта, не более». Это утверждение (повторенное и другими авторами) неверно (кстати, ни

один из писавших о Куницыне не подтвердил положение о его «несамостоятельности» какими-либо доказательствами). Идейная направленность книги «Право естественное» несравненно прогрессивнее даже наиболее антифеодальных положений этики Канта¹⁸.

С идеями великого французского просветителя Жан-Жака Руссо лекции Куницына, конечно, связаны, но Куницын вовсе не ограничился «изложением» Руссо. Истолковывая идеи «Общественного договора» Руссо, Куницын стремится к исторической точке зрения. В книге Куницына «Право естественное» имеется и прямая полемика с Руссо по отдельным вопросам. Так, возражая Руссо, Куницын писал: «Напрасно сей философ приписывает человеку в состоянии внеобщественном (то есть до гражданского общества) совершенное равнодушие ко всему. Самые грубейшие поколения любопытны до высочайшей степени ко всякому редкому явлению и склонны к подражанию и замечанию... Понятие о пороке и добродетели также им свойственно, хотя необразованный смысл дикого не может постигнуть прямой черты, отделяющей сии качества»¹⁹.

Записи лекций Куницына по естественному праву начинаются с обоснования «права естественного» как права личности на независимость. Куницын неоднократно повторяет, что движущей силой объединения людей является «общая цель» — «общее благо», «общая свобода». Для достижения этой цели необходимы «естественная независимость» личности и равенство людей в обществе. С людьми нельзя поступать так, «как мы поступаем с вещами». Нельзя также *принудительно* заставить человека следовать какому-нибудь мнению: «Кто принуждает другого последовать своим мнениям, тот не уважает личных его прав, ибо тем самым и старается удержать его в зависимости». Развивая дальше эту мысль, Куницын выступает как враг общественного неравенства и крепостничества. Он разделяет вопросы о *праве* на свободу и о возможности *осуществить* это право:

«В рассуждении первоначальных прав все люди как нравственные существа между собою совершенно равны, ибо все имеют одинаковую природу, из которой происходят общие права человечества. Однако ж не должно смешивать естественное равенство с политическим; первое определяется врожденными правами, а второе положи-

тельными законами. Даже естественное равенство прав существует только до тех пор, пока оные остаются без исполнения, но как скоро люди начинают пользоваться своими первоначальными правами, то немедленно рождается между ими неравенство; бедный и богатый, умный и несмысленный, сильный и слабый равны между собой по правам первоначальным, но в рассуждении прав производных совершенно различны»²⁰.

Далее Куницын говорит уже не только как «теоретик» нравственности, а как политик, протестующий против современного порядка вещей:

«Права первоначальные суть неотчуждаемы и неотъемлемы. Никто не может лишить другого права личности, даже с его собственного на то согласия, ибо если бы кто отказался от своих первоначальных прав, то унизил бы себя до степени существа несмысленного. И самый таковой отказ содержит в себе противоречие, ибо отказаться от права личности значит отказаться от употребления разума и воли, что значит переменить свою природу. Но сие невозможно. Да и самый таковой отказ как договор есть действие, зависящее от разума». Следовательно, «отказываться от права личности, — утверждает он, — значит действовать посредством разума для того, чтобы не иметь разума. Посему холопство как произвольное закрепощение есть действие противозаконное; напротив того, обязательство на услугу за известную плату есть законное употребление личной свободы»²¹.

Выступая против «холопства», «произвольного закрепощения», то есть попросту против крепостничества, Куницын, как это видно из последней фразы, противопоставляет феодально-крепостнической системе систему буржуазную. Правда, из других его лекций видны элементы критического отношения и к этой системе, понимание антагонизма «богатых» и «бедных». Так, например, в лекциях о «Праве государственном» он говорил об историческом развитии общества: «Когда в государстве появляется образование и роскошь, то жители делятся на 2 класса. Одни остаются *свободными* и достигают себе пропитание своими услугами, которые они каждому без различия оказывают; другие, *несвободные*, которые одному только обязаны оказывать услуги» («свободные» в этом контексте владельцы средств производства, а «несвободные» — люди, вынужденные продавать свой труд

какому-либо одному лицу). Но, несмотря на эти замечания, объективный смысл программы Куницына — защита капиталистического развития России. Нет необходимости доказывать прогрессивность этой программы для феодально-крепостнической России начала века²².

Куницына волновало и бедственное положение народа. Такое сострадание к угнетенным вообще характерно для просветительной идеологии при всей ее классовой ограниченности. Энгельс писал об этом:

«...мир до сих пор (то есть до эпохи идеологической подготовки французской революции XVIII века. — Б. М.) руководился одними предрассудками, и все его прошлое достойно лишь сожаления и презрения...

Мы знаем теперь, что это царство разума было не чем иным, как идеализированным царством буржуазии, что вечная справедливость нашла свое осуществление в буржуазной юстиции, что равенство свелось к буржуазному равенству перед законом, а одним из самых существенных прав человека провозглашена была — буржуазная собственность. Разумное государство, — «общественный договор» Руссо, — оказалось и могло оказаться на практике только буржуазной демократической республикой. Великие мыслители XVIII века, так же как и все их предшественники не могли выйти из рамок, которые им ставила их собственная эпоха.

Но наряду с противоположностью между феодальным дворянством и буржуазией [выступавшей в качестве представительницы всего остального общества] существовала общая противоположность между эксплуататорами и эксплуатируемыми, богатыми тунеядцами и трудящимися бедняками. Именно это обстоятельство дало возможность представителям буржуазии выступать в роли представителей не какого-либо отдельного класса, а всего страждущего человечества»²³.

Куницын — один из русских просветителей начала XIX века. Ему не свойственны, в отличие от Радищева, стремления к революционной ломке крепостнического строя «снизу», но его искренне волнует вопрос о современном положении народа. Этой стороной своих взглядов Куницын был связан с передовой Россией тех лет. Деятели эпохи декабристского подъема выдвигали в соответствии со своими политическими убеждениями (у одних более, у других менее прогрессивными) проекты пере-

стройки государства, но вопрос об освобождении крестьян был для них одним из главнейших. Слова Пушкина о том, что «политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян» (1822) отражали сущность этих стремлений. Куницын был здесь единомышленником Н. Тургенева, о котором Пушкин впоследствии писал:

Одну Россию в мире видя,
Преследуя свой идеал,
И плети рабства ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

Антикрепостнические убеждения Куницына особенно отчетливо проявились в его курсе политической экономии. В отчете конференции о шестилетнем курсе обучения (1811—1817) указывалось, что целью курса политэкономии было показать источники государственного богатства. От Куницына Пушкин получил первые сведения о том,

Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.

(«Евгений Онегин», гл. I)

Рассудительный, обычно спокойный тон лекций Куницына сменяется гневными интонациями, когда он говорил: «Крепостной человек не имеет никакой собственности, ибо сам он не себе принадлежит. Не ему принадлежит дом, в котором он живет, скот, который он содержит, одежда, которую он носит, хлеб, которым он питается»²⁴.

Доказывая в своих лекциях по политической экономии необходимость ликвидации крепостного права, Куницын утверждал, что надо создать условия для свободного развития промышленности. Его доказательства были и морально-этического свойства и экономического: Куницын говорил, что крестьянский труд невыгоден для хозяйства («.. бесполезно для непроемчивого класса угнетение производящего»). В рассуждении «О средствах, способствующих к умножению народного богатства» он заключал: «Итак, введение совершенного равенства и совершенной свободы во всех занятиях есть самое простое средство довести все классы государства до высочайшей степени благоденствия». Эти утопические на-

дежды на «общее благоденствие» при сохранении частной собственности на землю и орудия производства имели тогда, однако, во многом прогрессивное историческое содержание, точно так же как и теории любимого экономиста Куницына — Адама Смита²⁵.

Наряду с антикрепостнической тенденцией лекции Куницына проникнуты отрицанием принципа абсолютизма.

В курсе естественного права особую главу составляет «Право общественное». Основное содержание ее и заключается в теоретической критике принципа абсолютизма. Трактую вопрос о взаимоотношении народа и государственной власти, он исходит из теории общественного договора. Общественный договор не есть формальность: «Согласие бывает явное или молчаливое». Целью общества является общее благо. Но «если кто вступил в общество, обманут будучи наружностью справедливости оной цели, то сколь скоро откроет, что цель оного несправедлива, то вместе с сим оканчивается его обязанность в рассуждении общества». Верховная власть имеет право предпринимать такие действия, которые относятся к общему благу, «ибо для оной только поверяется верховная власть». Подданство — это не слепое повиновение власти, а «старание о пользе общей». Верховный властитель обязан «при отправлении своей власти соблюдать естественные и законные ограничения», а подданным «предоставляется общественная свобода»²⁶.

Таков общий ход рассуждений Куницына в курсе естественного права, записанном Горчаковым. Эти записи дают возможность установить прямую переключку идей Куницына с теми идеями, которые в это время волновали прогрессивные круги русского общества.

Совершенно несомненным является, в частности, знакомство Куницына с конституционными проектами тех лет. Это еще раз подтверждает стремление Куницына не к абстрактному теоретизированию, а к проблематике, актуальной для оппозиционных кругов.

В следующем своем курсе, «Право государственное», он дает дальнейшее обоснование тех же философских идей и излагает теорию государства.

В начале своего нового курса Куницын критикует романтическую идеализацию «естественного состояния» как якобы наилучшей формы существования. В противовес процветавшим в эти годы утопическим идеям о безмятеж-

ной идиллии «детства человечества» Куницын говорил, что «в естественном состоянии люди не имеют между собою никаких связей, а потому не может быть между ими никаких сношений и все права их ничтожны, ибо при таком положении вещей каждый человек зависит от собственного только произвола и для своей безопасности имеет существенное в своей физической силе; каждый сам для себя есть законодатель и судья, ибо в естественном состоянии нет расправы, которая бы по общим законам разбирала поступки людей, потому оное есть состояние войны и всегдашней опасности». Больше того, «естественное состояние» противоречит самым принципам существования человека как общественного человека: «Каждый человек имеет право приводить себя в состояние безопасности, а потому, если некоторые люди, находясь в естественном состоянии, захотят оставить оное и вступить в гражданское, то они могут прочих, оставшихся в естественном состоянии, принудить или вступить с ними в общественное состояние, или совершенно от них удалиться. Доколе сии последние не решатся на то или другое, доколе первые имеют право поступать с ними неприязненно; ибо они обижают их одним только незаконным своим состоянием. Итак, человек имеет право и обязанность вступить в общество»²⁷.

Далее Куницын подробно говорит об образовании собственности как фактора перехода от первобытного состояния к общественному строю и появлению подневольного труда:

«Доколе люди скитались по лесам, получая пропитание от рыбной и звериной ловли, до тех пор они не имели нужды в гражданском обществе и, следовательно, не могли помышлять об оном. В сем состоянии им нужно было сберегать только собственное бытие, к чему лучшее средство есть бегство в случае опасности; внешних вещных прав они не имели, и для того постоянный гражданский союз им был не нужен. Ненадежность их пропитания принуждала их более к рассеянию, нежели к соединению.

Но когда люди мало-помалу образовались и начали приобретать собственность, тогда открылась нужда в защите, и люди должны были приступить к постоянному соединению.

Когда люди приобрели постоянную собственность,

а старание умножить и усовершенствовать оную произвело нужду во взаимной помощи и тем соделало узы семейства более прочными, тогда произошла нравственная любовь между мужем и женою, привязанность между родителями и детьми и связь между господином и рабом. Сии и подобные оным связи людей произвели, наконец, общество *пастушеское*... которое имеет целию безопасность всех личных и вещественных прав людей противу опасностей всякого рода». Но, продолжает Куницын, «вещные права членов пастушеского общества не заключают в себе прав на землю. Пастухи не имеют понятия о поземельной собственности. Они не считают нужным удерживать за собою пространство земли, которое должны оставить без употребления или вовсе, или на некоторое время»²⁸.

Государство же, по словам Куницына, возникает с появлением поземельной собственности. Само понятие поземельной собственности «рождается не прежде, как когда люди примутся за обработку земли. Труды и иждивение, употребленные на обработку почвы, заставляют людей подумать о присвоении земли в постоянную собственность». Далее дается определение государства как общества, учрежденного «для всегдашней защиты всех прав человеческих в пределах известного пространства земли противу всяких опасностей». Возникает *нация* — «собрание всех людей, в областях государства живущих», а с появлением «образования и роскоши» жители «делятся на два класса» — «свободных» и «несвободных»²⁹.

Не трудно заметить, что в рассуждениях Куницына сквозь идеалистическое понимание общества и государства отчетливо видны проблески трезвого историзма. Эти рассуждения с особенной убедительностью доказывают яркую одаренность Куницына. Не приходится сомневаться в глубоко прогрессивном значении его идей в данных исторических условиях. Это очевидно, несмотря на ограниченность и противоречивость его общей концепции. Так, он не видел, что частная собственность неминуемо рождает неравенство и эксплуатацию и этого «разум» изменить не может.

В курсе государственного права Куницын всесторонне развивает положение о суверенитете народа и праве гражданина на личную свободу. Он утверждает, что «гражданин подчинен своевластителю только для цели

государства и во всем, что к оной относится, должен ему повиноваться. Но когда употребляется кто-либо от своевластителя к другим целям, а не для цели государства, то таковое злоупотребление верховной власти называется *тиранством*»³⁰.

Дальше он всемерно обосновывает принципы, которые, по его мнению, являются гарантией против «тиранства своевластителя» («своевластителем» он называет верховную власть, независимо от формы правления); это теоретические принципы равенства и основанной на равенстве незыблемой законности. «Законы, — говорил Куницын, — должны быть всеобщие, т. е. всех граждан равно обязывающие и всем предоставляющие равные права и обязанности так, чтобы то, что для одного есть право и обязанность, в одинаковых обстоятельствах было также правом и обязанностью другого; ибо договор соединения не заключает в себе основания, почему один кто-либо может быть обременен более, нежели другой, и напротив. Итак, если бы законодательная власть на одного более отягощения возложила, нежели на другого, то сие произошло бы по особенным видам, кои в состав цели государства не входят, следовательно было бы явное нарушение справедливости, на которой основан договор». Особенности права и преимущества могут быть предоставлены некоторым гражданам только в случаях, когда «сие для цели государства необходимо или полезно»³¹.

Для Куницына несомненна святость закона, но только такого закона, который отвечает требованиям «общего блага», равенства: «Законодательная власть не может делать предписаний касательно тех предметов, которые к цели общественной не принадлежат». В разделе «Об образах правления» Куницын с самого же начала говорит, что образ правления может быть основан только на условиях «договора подданства», «конституции»; все другие способы приобретения власти незаконны. Далее он разделяет образы правления на монархический и демократический и дает характеристику того и другого. По поводу монархического образа правления, в частности, замечено: «Когда монарх употребляет силы государства противно цели государства или подданных лишает первоначальных и производных прав, для сохранения коих учредилось общество, тогда образ правления называется деспотическим». В следующем затем

подробном рассуждении «О способах приобретать верховную власть в монархии» главной проблемой является проблема взаимоотношения между народом и монархом. Только народ может дать монарху власть, поэтому «по смерти избранного монарха власть верховная снова приходит к народу, который вправе избрать нового властителя или переменить образ правления». В случае междуцарствия «зависит от народа управлять ли государством по общему согласию, или поручить сию власть некоторым согражданам». В избирательной монархии «право избирать монарха народ или себе представляет, или поручает некоторым лицам». И дальше в ряде случаев подчеркивается роль народа в монархическом управлении. Говоря о монархии наследственной, Куницын признает, что «по силе коренных законов... по упразднении трона наследник восходит на оный, не требуя согласия народа. Таковой образ наследования продолжится, доколе род царствующего поколения не прекратится. По прекращении же оногo народ снова получает право избирать наследника и определять способ наследования». Безоговорочно резкая оценка дается в лекциях монархии «отеческой», то есть такой, где «определение наследника зависит от предшественника».

«Отечественный образ наследования, — говорит Куницын, — противен цели общества; ибо потому, во-первых, весь народ делается собственностью своего властелина; во-вторых, разделение областей государства, каковое предполагается в монархии совершенно отечественной, подвергает государство опасности и совершенному разрушению»³².

Развитая Куницыным теория «законности» в «способах приобретать верховную власть», его утверждение равенства всех граждан перед законом, его трактовка понятия «тиранства» были органически восприняты Пушкиным и осмыслились им применительно к фактам действительности. Общность трактовки ряда проблем у лицейского профессора и его ученика очевидна.

Вот некоторые примеры.

В параллель к мыслям Куницына: «каждое правление законное, которое учреждается законным образом»; «когда употребляется кто-либо от своевластителя к другим целям, а не для цели государства, то такое злоупотребление верховной власти называется тиранством»,

можно привести следующие строки из «Бовы», отрывка из поэмы, написанной Пушкиным в Лицее:

Царь Дадон венец со скипетром
Не прямой достал дорогою;
Но убив царя законного...

Царь Дадон не Слабоумного
Был достоин злого прозвища,
Но *тирана* неусыпного...

В «Романсе» (1814) тема о трагической судьбе незаконнорожденного сына осмысливается как протест против существующего закона:

Закон несправедлив, ужасный
К страданью присуждает нас.

Другое лицейское стихотворение Пушкина «Лицинию» изображает падший Рим —

Где все продажное: *законы*, *правота*...

Но в особенности влияние Куницына сказалось в оде «Вольность», написанной в 1817 году, вскоре после выхода Пушкина из Лицея. Отдельные строфы оды можно прямо сопоставить с рассуждениями Куницына:

Лишь там над царскою главою
Народов не легло страданье,
Где крепко с вольностью святой
Законов мощных сочетанье:
Где *всем* простерт их твердый щит,
Где, сжатый верными руками
Граждан, над *равными* главами
Их меч без выбора скользит...
Владыки! вам венец и трон
Дает закон — а не природа;
Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас закон.

И в конце поучение царям:

Склонитесь первые главою
Под сень надежную *закона*,
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой*.

Конечно, не следует думать, что этими идеями Пушкин был обязан исключительно Куницыну. В литературе справедливо указывалось, что наиболее сильные места оды («Восстаньте, падшие рабы») навеяны непосредственными впечатлениями жизни, вместе с тем они отра-

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

жают влияние Радищева. Но воздействие Куницына, засвидетельствованное самим Пушкиным («*поставлен им краеугольный камень*»), несомненно в этом произведении.

Один из разделов своих лекций по государственному праву Куницын посвятил характеристике республиканских образцов правления. Начинает он с положения: «В демократии верховная власть принадлежит всему народу, т. е. или всем гражданам, или начальникам семейств. Собрание оных называется *народным сословием*. «Народное сословие» по терминологии того времени — парламент. О парламенте Куницын говорил неоднократно в других лекциях, утверждая, что эта форма правления и в монархическом государстве предоставляет народу единственную возможность в какой-то мере участвовать в управлении государством. «Поскольку весь народ не может участвовать в отправлении верховной власти вместе с монархом, то для сего учреждается сословие, которому предоставляется право участвовать в делах, подлежащих верховной власти»³³.

Рассматриваемый раздел выдержан в записях Горчакова в стиле описательном: перечисляются различные типы республик без их оценки. Это можно объяснить не только остротой темы, требующей от лектора осторожности, но и конспективностью записей, в которых отсутствуют обычные в лекциях Куницына «подробности», живые «примеры». Некоторое представление о том, в каком направлении он мог развивать в устном изложении тему о республиканском правлении, дают его две статьи, напечатанные в 1818 году в «Сыне отечества» (одна — «О конституции» и вторая — посвященная разбору речи Уварова в Педагогическом институте). Обе статьи (не выходящие, конечно, за пределы цензурной легальности) ставили целью убедить читателя в том, что времена абсолютного монархического правления безвозвратно прошли. Куницын говорит здесь о введении «представительного правления». Многие Куницын не договаривал, имея в виду «прозорливость читателей», часто допускал половинчатые, компромиссные формулировки; он явно старался «уговорить» царя ввести конституцию. При всем этом интересна попытка Куницына обосновать необходимость ограничения самодержавия и введения конституции не только на примерах других стран, но требованиями развития самой России. Возражая Уварову, за-

явившему: «Мы по примеру Европы начинаем помышлять о свободных понятиях», Куницын писал:

«Но мы давно о них помышляли: никогда не были они чужды российскому народу: вече, боярские думы, третейский и совестный суд; разбирательство дел при посредстве присяжных, равных званием подсудимому, были еще в древности существенными принадлежностями образа правления в нашем отечестве. В важных происшествиях государства обыкновенно все сословия принимали участие и действовали единодушно». Утверждая, что отражение нашествия врагов, «постановление общих законов» бывали в древней Руси предметом «согласного решения всех государственных чиновостояний», Куницын заключал: «Иностранные народы прежде нас дали непременные формы государственному правлению, но не позже их мы о том помышляли»³⁴. Эти слова не были только личным мнением Куницына.

Науки, которые преподавал Куницын, вызывали живейший интерес Пушкина. Об этом свидетельствуют факты.

В сохранившемся плане автобиографических записок Пушкин отмечает под 1811 годом — годом поступления в Лицей: «Мое положение. — Философические мысли». А 10 декабря 1815 года Пушкин занес в лицейский дневник: «Вчера написал я третью главу «Фатама или разума человеческого: «Право естественное». Читал ее С. С. ...». Один из ранних биографов Пушкина, В. П. Гавевский, рассказывает о сюжете этого произведения (романа): «Содержание ее мы слышали с некоторыми подробностями: супруги просили у судьбы сына самого разумного, каких еще не бывало; но как в природе развивается в ту или другую сторону, то им обещано, что сын их родится необыкновенно умным, с летами же постоянно будет терять способности и, наконец, обратится в детство. Действительно, родившись, он был чрезвычайно учен, говорил по-латыни и, едва взглянув на свет, спросил: — ubi sum? * и т. д.»³⁵.

Но «Фатама», где, судя по заголовку и свидетельствам биографов, были отражены мысли лекций Куницына о «естественных правах» и законах развития, не уцелела, так же как не уцелела и комедия в стихах «Философ», о которой лицеист Илличевский писал своему другу Фуссу

* Где я? (лат.).

16 января 1816 года: «План довольно удачен и начало, то есть 1-е действие, до сих пор только написанное, обещает нечто хорошее; стихи — и говорить нечего — а острых слов сколько хочешь!.. Дай бог ему кончить — это первый большой *ouvrage* *, начатый им, *ouvrage*, которым он хочет открыть свое поприще по выходе из Лицея. Дай бог ему успеха — лучи славы его будут отсвечиваться и в его товарищах»³⁶.

Пушкин, следовательно, был настолько увлечен замыслом комедии «Философ» и придавал ей такое значение, что думал ею «открыть свое поприще по выходе из Лицея».

В свете лицейских лекций, читанных Куницыным, их общей направленности против абсолютизма и крепостничества, их защиты человеческих прав, новую мотивировку приобретает дарственная надпись Пушкина на экземпляре своей «Истории пугачевского бунта»: «Александру Петровичу Куницыну от автора в знак глубокого уважения и благодарности»³⁷.

8

Мы уже приводили выше слова Малиновского из его дневника: «Великая обида россиянам почитать их неспособными для составления своих законов! Доселе только знаменитые в Европе своим мужеством и победами, они законодательством покажут, сколь великого почтения достойны по дарованиям своего быстрого ума и тонкого понятия». В Лицее идеи этого рода широко пропагандировались. Больше того, в специальном курсе лекций наряду с характеристикой прогрессивных для того времени западноевропейских политических систем, отмечались также их пороки и кричащие противоречия.

Эти лекции, носившие скромное название «Статистика», охватывали важнейшие вопросы истории и политики. В лекциях по статистике содержались те идеи, которые позже развивал и Пушкин, характеризуя противоречия буржуазного строя³⁸.

Как же определяется предмет и задачи статистики?

Статистика, как указывается в записях, сделанных Горчаковым, возникла «по мере распространения просве-

* Труд (франц.).

щения в Европе и развития ума человеческого». Она представляет собою «основательное познание состояния какого-нибудь государства» во всех отношениях, и прежде всего в плане политическом. «Все принадлежащее даже самым отдаленным образом государству, начиная от монарха до последнего в государстве человека и от важнейшего до последнего предмета народной промышленности, благоденствия или бедствия народного должно быть описано пером статистика в истинном беспристрастном виде». Но статистика не является наукой эмпирической, а занимается *«познанием тех только предметов государства, кои имеют явное влияние на благо оного»*. Поэтому она «имеет свою теорию, и сия теория ее есть философская». «Описание нравов народов, живущих в каком-либо государстве, образа их жизни, обычаев и пр. тогда только будет предметом статистики, когда о сем будет рассуждаемо в отношении ко благу или вреду оного».

Из всего этого следует, что статистика в понимании лицейского профессора — наука не описательная, а политическая, освещающая современное состояние государства. Об этом дальше и говорится:

«Политические науки теснее, кажется, прочих наук соединены с статистикою. Они показывают, чем должно быть государство, а статистика показывает, каково оно есть. Посему статистика представляет политике состояние государства и предоставляет ей принять средства управлять оным благоразумно. Но знающий состояние государства может видеть и средства к управлению оного»³⁹.

В этот курс входило и освещение современного состояния Российской империи. В связи с этим во введении к лекциям содержится особое рассуждение, обосновывающее право лектора критиковать государственный строй и правительство: «Истина — во всем смысле сего слова — есть непрременный долг статистика. В сем случае долг историка, беспристрастие, простирается и на него». «Но здесь, — продолжает лектор, — встречается возражение: публичное объявление недостатков, погрешностей и ошибок правительства может быть для него обидою, может послужить ему во вред и унижить пред другими государствами или в глазах собственных его подданных. Но 1) во всех человеческих учреждениях находятся ошибки, заблуждения и беспорядки; часто самые благоразумные правительства не могут избежать их. 2) В глазах просве-

щенной публики, находящей свою пользу в статистических известиях, правительство, объявляя недостатки, погрешности и заблуждения, неизбежные во всех человеческих учреждениях, ничего не потеряет; мудрый и добрый гражданин всегда с благодарением будет смотреть на благотельные намерения правительства, хотя исполнение оным и не соответствует. 3) Правительство подвергнется осуждению тогда только, когда оно само покровительствует злоупотреблениям или одобряет их; но таковое правительство не согласится иметь статистиков. 4) И слабые правительства, не имеющие довольно силы для отращения всех беспорядков, бывающих причиною падения государств, не должны позволять писать статистику своего государства. 5) Мудрое, напротив того, и сильное правительство, имеющее целию благосостояние своих подданных, может учреждать статистические общества. Не желая, чтобы народ его был в неведении и о вещах, находящихся в его государстве, и желая, чтобы он судил о сих вещах правильно, он не может почесть для себя обидою объявление истины»⁴⁰.

Кто же автор этого интереснейшего по замыслу курса лицейской программы? На это материалы лицейского архива дают совершенно тоинный ответ: лекции, именованные «Статистикой», читал И. К. Кайданов, ведавший кафедрой «исторических наук», тот самый Кайданов, который, как мы упоминали, заслужил впоследствии (в 20-е и 30-е годы) репутацию совершенно бесцветного и абсолютно «благонамеренного» профессора. В самом деле, его бесчисленно переиздававшиеся учебники по русской истории не представляют никакого интереса. Но историографии не был известен другой Кайданов, который раскрывается перед нами в записях лицейских лекций, по своему направлению совсем непохожих на его позднейшие учебники. Лицейский товарищ Пушкина Илличевский в одном из своих писем 1814 года к П. Н. Фуссу ставил Кайданова в ряд с Куницыным, Карцевым, говоря, что они «люди с достоинством». О Кайданове он замечает: «Он сочинил прекрасную историю древних времен, которая теперь только выходит из печати»⁴¹.

Курс «Статистики» создан Кайдановым самостоятельно. Об этом свидетельствуют учебные записки 1815 года, сохранившиеся в лицейском архиве, где сказано: «Адъюнкт-профессор Кайданов... Российскую ста-

истику будет преподавать по сочинению г. Зябловского, делая из оного извлечения, а прочих главнейших государств по своим тетрадам, ибо нет такого сочинения на российском языке»⁴².

Когда Пушкин учился в Лицее, Кайданов выпустил только первую часть «Основания всеобщей политической истории» — древнюю историю (кончая падением Римской империи). Эта книга вышла в 1814 году. Другого печатного руководства по истории лицеисты не имели, изучая ее по запискам Кайданова. Остальные его книги выходили уже в 20-е годы, когда Лицей был разгромлен, а Кайданов был озабочен только тем, чтобы всяческими путями доказать свою благонамеренность. Судить по этим *позднейшим* работам Кайданова о преподавании истории в *пушкинское* время нельзя: перед нами не только напуганный, но и политически деградировавший человек. Сравнение древней истории в изданиях 1814 года и 1821 года показывает, что он убрал из первоначального текста все «антидеспотические» и «вольнодумческие» тирады (как, например, утверждение о том, что «деспотическое правление, водворившееся во всех азиатских государствах, угнетало народ и подавляло в нем все благородные чувствования»). Изменен и характер освещения древней Греции. В издании 1814 года Кайданов считал причинами «цветущего состояния» Греции политическую свободу, которая «развила в их душах все способности». В 1821 году эта формулировка исчезла, как исчезли и утверждения о том, что деспотизм погубил древний Рим. Но зато появилось «посвящение государю», где утверждалось, что «повиновение предержавшим властям» есть «первый, священнейший долг человека-гражданина»⁴³.

Правда, Кайданов и в свои лучшие времена не выходил за установленные рамки воспитания лицеистов для будущих «законно-свободных учреждений». Осуждая «деспотические формы» самодержавия, отрицательно относясь к феодализму и аристократии и сочувствуя «среднему сословию», Кайданов не являлся принципиальным противником самодержавия вообще: за его рассуждениями всегда чувствуется надежда на осуществление проекта конституционной монархии, ограничения власти российского самодержца «законно-свободными учрежде-

ниями». В отличие от Куницына Кайданов окружал свои критические тирады такими «благонамеренными» фразами, которые выходили за пределы простой страховки перед «властями предержащими». Сугубая осторожность Кайданова видна и в некоторых поправках, которые он сделал в тетради Горчакова. Например, о древних новгородцах вначале было сказано, что они «хотели сделаться независимыми и подняли знамя вольности под предводительством Вадима». Рукой Кайданова в этой фразе слово «вольность» заменено словом «возмущение». В другом месте усилена тирада о «благоденствии», которым наслаждалась Россия при монархическом правлении Рюрика, устранившем «раздоры» (Россия... почувствовала все выгоды монархического правления» и т. д.)⁴⁴.

Критицизм Кайданова, как отмечено выше, быстро испарился. Однако нас в данном случае интересует, собственно, не эволюция Кайданова, а содержание тех его лекций, которые слушал Пушкин. Эти лекции, повторяем, принципиально отличны по своему духу от напечатанных позже учебников (а курс его «Статистики» вообще не был опубликован)⁴⁵.

К тому же Кайданов обязывался системой лицейского образования к проведению определенных принципов. Эти принципы устанавливала конференция. Напомним, как подытоживался опыт преподавания истории в «Отчете» за 1811—1817 годы. «Конференция, — говорилось здесь, — поставляла в необходимую обязанность преподающему излагать истины исторические со всею точностью и со всяким беспристрастием». В «Отчете» указывалось, что в ходе преподавания истории были освещены различные политические системы, «пороки и ошибки правителей», «хищнические и несправедливые завоевания приморских держав» и т. д. На уроках русской истории не скрывалось, что Россия «некогда была государство слабое, раздираемое то внутренними несогласиями, то внешними неблагоприятными войнами, что в ней царствовали некогда суровые обычаи, бесчеловечные законы, что в государственном управлении не было постепенности, что суд и расправу могли находить только вельможи и люди, близкие ко двору царскому, а простой народ страдал от угнетения сильных». Лицейсты на уроках истории должны были исполниться любви к «великим мужам», восставшим «противу предрассудков... противу

злоупотреблений, обратившихся в обычай», и стремления подражать этим мужам ⁴⁶.

Из «Отчета» следует, что на уроках истории ставились те же вопросы государственного устройства, политической жизни, которые освещались в общей, теоретической форме в курсах «нравственных и политических наук». На уроках Кайданова история соприкасалась с современностью. С этой точки зрения наибольший интерес представляет курс «Российская империя» и обзор современной Европы (оба эти курса объединились общим названием «Статистика»).

Записям курса «Российская империя» в тетрадях Горчакова предшествовало, в виде многозначительного эпиграфа, изречение Цицерона о необходимости знать республику, для того чтобы ею управлять.

Следует отметить эмоциональный тон, который звучит в конспекте лицейских лекций. Воодушевлявшие Кайданова чувства национальной гордости, восхищение подвигами предков и их самоотверженностью в защите родины несомненно являлись прямым отражением патриотического подъема эпохи 1812 года. Прославлению национального характера посвящены первые же страницы конспекта Горчакова («Славяне были храбры, честны, благонравны, честно сохраняли свои обещания. У них была пословица: «Кто не сдержит своего слова, тому да будет стыдно» и т. д.). Лицеистам внушалось чувство гордости величием родины, мощными потенциальными возможностями русского народа. «Российская империя, — говорилось в самом начале курса, — одно из огромнейших и по многим отношениям важнейших государств Европы, представляет наблюдателю любопытное, разнообразное и величественное зрелище: от берегов Ледовитого моря и до Китая, Персии и Турции и от Вислы до Восточного океана». И здесь же отмечались социальные контрасты страны, простирающейся от «блестящих столиц до беднейших юрт кочующих народов», страны, в которой сосуществуют и «утонченно образованные жители» и «самоеды, коряки или камчадалы». Вопреки прерзительному отношению официальной историографии к малым народам в лицейском курсе они приводятся как пример «величественного разнообразия племен»; далее упоминаются также «нагайцы, киргизы, монголы, буряты, тунгузы» ⁴⁷. Для нас не безразличен контекст, в котором

услышал тогда о многонациональном составе России Пушкин, впоследствии писавший:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий
Тунгус, и друг степей калмык *.

Переходя к обзору «состояния народа или управляемых», лектор приводит (хотя и без комментариев) выразительные цифры: в России шестнадцатью миллионами «ревизских душ» владеют 225 тысяч дворян. Сочувствие к положению крепостного крестьянства сквозит в разделе, посвященном «правам и привилегиям российского народа». Здесь отмечено, что «дворянство и купечество» имеют значительные права, а поселяне бесправны и беззащитны. «Помещичьи крестьяне, разделяющиеся на дворовых, пахотных и оброчных, во всем зависят от воли своего помещика. Участь их, лучшая или худшая, происходит единственно от личных качеств помещика»⁴⁸.

К вопросу о крестьянстве Кайданов возвращается также в разделе, где говорится о современном развитии промышленности. Так же как и Куницын в своих лекциях по политической экономии, Кайданов доказывает невыгодность крепостного права для развития мануфактур и утверждает необходимость «совершенной свободы» для распространения «народной промышленности». Здесь же рассказано о постановлениях, которыми правительство, озабоченное «развитием мануфактур», «старается соединить две противоположные системы — рабство и свободу, пользу фабрикантов и выгоды работников»⁴⁹.

Наконец в лекциях отражено характерное для оппозиционных кругов недовольство неограниченной властью монарха (напомним, что задача лекций — осветить состояние России того периода, когда они читались). Кайданов подчеркивает, что «в России при монархическом неограниченном правлении нет таких сословий, кои имеют право делать государству представления и коих согласия нужно к тому, чтобы дело получило надлежащую силу закона»⁵⁰.

Замаскированные симпатии к конституционным порядкам проявляются в разделе «Образ правления», где Кайданов вновь говорит о том, что в России все права

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

верховой власти принадлежат императору: «Никакое сословие или лицо... не имеет в том участия. Государь не подлежит никакому отчету; воля его не ограничена ни по предмету, ни по форме». Любопытно, что здесь Кайданов прямо противопоставляет самодержавный режим конституционным системам, где власть находится в руках «сената, сейма и пр.» или разделена «между королем, верхним и нижним парламентами и даже народом, особливо при выборе членов парламента»⁵¹.

Кайданов признавал роль самодержавия в истории формирования и укрепления государственности, но он был чужд как идеализации монархизма, так и модным в реакционной историографии попыткам исторически обосновать дворянские права и привилегии. «Законы должны составить благоденствие народа», — говорил Кайданов, повторяя общую установку лицейского преподавания⁵².

Другие из сделанных Горчаковым записей лекций Кайданова по российской истории дают менее отчетливое представление об идейном содержании этого курса. Изложение кончается царствованием Петра II: важнейшие разделы, посвященные времени Екатерины и Павла, в записях отсутствуют.

Подробное освещение истории России Кайдановым (при всех типичных для того времени ошибках даже фактического порядка) должно быть отмечено тем более, что карамзинская «История государства Российского» (служившая впоследствии долгое время фактической основой исторических курсов в учебных заведениях) начала выходить, как известно, в 1818 году (до этого печатались только отдельные статьи и очерки Карамзина).

Разумеется, Кайданов широко использовал различные исторические труды. Но его освещение русской истории в лицейском рукописном конспекте противоположно и «Истории российской» Татищева (где доказывалось, «сколь монаршеское правление государству нашему прочих полезнее») и взглядам Карамзина как выразителя безусловно реакционной программы.

Успехи Пушкина по истории были, как свидетельствовал сам Кайданов, хорошие (в 1812 году он писал о нем: «Успехи довольно хорошие», а в 1814 году: «При малом прилежании оказывает очень хорошие успехи, и

сие должно приписать одним только прекрасным его дарованиям»).

Что же было ценного для Пушкина в лекциях Кайданова по русской истории?

На лицейских лекциях Пушкин получал первоначальные сведения об исторических деятелях и событиях, которые впоследствии глубоко интересовали его и как историка и как художника в «Борисе Годунове», «Полтаве», «Истории Петра» и т. д. В Лицее он услышал о борьбе Руси за независимость, о Годунове, о делах великого преобразователя России Петра I, а также о многих легендарных эпизодах, вплоть до рассказа о гибели Олега «от ужаления змея», который затем отразился в пушкинской «Песне о вещем Олеге».

Любопытен рассказ о Борисе Годунове — лице, которому впоследствии посвятил свою трагедию Пушкин. В связи с этим небезынтересно напомнить, что проблемы законности царской власти стояли в центре внимания Кайданова. Критерием же оценки того или иного «правителя» служила для него степень «благоденствия народа», борьба против иноземных поработителей, развитие просвещения и т. д. Кайданов описывал Годунова как «ненасытного честолюбца» и убийцу Дмитрия, а по поводу «благоденствия» царя, которое явилось плодом его «трудо», замечает: «Если можно назвать благоденствием величие, купленное злодеянием». Незаконно захваченная власть не может дать и морального удовлетворения: Годунов «скончался среди мучительных угрызений совести»⁵³.

Зато настоящий панегирик посвящает Кайданов Михаилу Федоровичу, который тогда высоко чтился и идеализировался в либеральных кругах как «всенародный избранник», якобы обеспечивший России «благоденствие» (в такой трактовке Михаил как бы противопоставлялся другим Романовым, не гнушавшимся никакими средствами, чтобы взойти на престол и удержать его за собой). Эта распространенная легенда о Михаиле Федоровиче оказалась, как известно, настолько устойчивой, что его именем была названа масонская ложа, связанная с «Союзом благоденствия» («Ложа избранного Михаила»), а Рылеев свою думу «Иван Сусанин» заключил славословием в честь крестьянина, кровь которого «для России спасла Михаила». Восшествие Михаила на пре-

стол описывается Кайдановым чуть ли не как результат демократических отношений избираемого с избирателями: народ предложил Михаилу венец, он скромно отказывался, а затем согласился. Главная заслуга этого царя, по Кайданову, в том, что «состояние народа было сделано лучшим, правосудие царствовало в судах. Порок в златотканной одежде не торжествовал над невинностью в рубище»⁵⁴.

Но особенное внимание и преобладающее место уделено в лицейских лекциях Петру I—личности, которая так интересовала Пушкина на всем протяжении его творческого пути. Правление Петра оценивается Кайдановым как крупнейшая веха в мировой истории. Раздел курса о Петре он начинал словами: «Из всех достопамятных происшествий, случившихся на Севере и во всей Европе со времени открытия Америки, нравственное и политическое преобразование России есть самое достопримечательное происшествие». Народ «вдруг воспрянул, познал свое предопределение», «становится исполинским шагом среди держав европейских и, соделавшись повелителем Севера, начал принимать сильное участие в делах всех государств»⁵⁵.

Кайданов подчеркивает, что Петра «славит муза истории, и никого достойнее не может она славить». В этой связи многозначительно его полемическое упоминание о том, что имя преобразователя России «часто злоупотребляемо современниками» (то есть, по-видимому, теми, кто считал последующих царей продолжателями или преемниками Петра)⁵⁶.

Характеристика Петра, данная Кайдановым, прочно вошла в сознание юного Пушкина. Петр в этой характеристике неколебим, тверд в стремлении к цели, «справедлив», он, говоря позднейшими словами Пушкина, «работник на троне». «Герой Севера, основатель величия нашего отечества, стремясь с непоколебимой твердостью, свойственной великим мужам, сквозь окружающую его тьму невежества и величайших предрассудков к просвещению, сам решился, оставя трон, снискать в низкое состояние»⁵⁷.

Рассказывая о юношеском окружении Петра, Кайданов отмечал: «Равенство было душою сего общества и по разуму учиненного царем Федором достопамятного постановления, личные достоинства,

а не порода возводили на высоту степень перед прочими».

Наконец следует отметить, что будущий автор «Полтавы» услышал в Лицее оценку Полтавской битвы как одной «из совершеннейших и важных побед, известных в истории», решившей «участь всей России» и «доставившей уважение сему государству»⁵⁸.

Нет необходимости говорить о том, что впоследствии у зрелого Пушкина взгляд на Петра был неизмеримо глубже и правильнее, чем у Кайданова (достаточно вспомнить гениальные слова Пушкина о том, что Петру были свойственны черты «самовластного помещика» и что некоторые его указы «писаны кнутом»). Но очевидно также, что развитие исторических взглядов Пушкина и, в частности, развитие одной из центральных тем его творчества — темы Петра — не может рассматриваться вне учета лицейских лекций как одного из существеннейших источников образования и воспитания поэта.

В лекциях Кайданова, посвященных западноевропейским государствам, наиболее интересным является критическое обобщение зарубежного политического опыта. Значение такого обобщения становится очевидным, если учесть споры, которые велись тогда вокруг проектов введения конституции в России.

Наибольший интерес представляет всесторонний анализ в лицейских лекциях английской политической системы.

Самый принцип конституционного строя вызывает одобрение Кайданова. Он признает ряд преимуществ этого строя по сравнению с феодально-монархическим строем александровской России. Английскую конституцию лицейский профессор рассматривает с позиций сторонника конституционной монархии, установление которой в России считалось тогда наиболее реальным не только в кругах, близких Сперанскому, но даже в ранних тайных объединениях декабристов. По словам лектора, «образ правления, существующий ныне в Англии... есть следствие долговременного борения, стремления народа к свободе со страстию к порабощению». Понятие законности, отношение между монархом и народом трактуется им в таком же духе, как и в лекциях Куницына о государственном праве: «Правление Великобритании и Ирландии (особливо же Англии) подобно республиканскому, ибо законодательная и исполнительная власть

разделены между собою, и разделены так, как только могут быть разделены в монархии». Характеризуя ограничения, установленные английской конституцией для короля, лектор явно наталкивал слушателей на противопоставление этой системы абсолютизму, с самодержцем-деспотом, «неограниченным своевластителем» — «тираном». В лекциях с удовлетворением отмечено, что конституция ограничила возможность короля делать что-либо «худое», ибо «при совершенной своей свободе он ограничен вышеозначенными государственными и парламентскими постановлениями»⁵⁹.

Отмечая положительные, по сравнению с абсолютной монархией, стороны английской конституции, Кайданов вместе с тем говорит о ней критически. Так, подробно рассказывая об английской парламентской системе, лектор мимоходом бросает замечание: «Без сомнения, многие члены парламента зависят от двора и преданы ему, ибо король назначает всех важнейших государственных чиновников и, следовательно, оппозиционная партия, по видимому, ничего не значит»⁶⁰.

В этих лекциях говорится о противоречиях английской жизни, о растлевающем влиянии буржуазной цивилизации на все общество, отмечается контраст между богатством небольшой кучки людей и нищенством народа.

Позиция лицейского профессора враждебна позиции таких людей, как Карамзин, который видел в Англии «здоровье и довольствие», враждебна и реакционерам вроде Растопчина, стремившегося убедить читателей, что самодержавно-крепостнический режим является самой лучшей государственной системой. Лекции Кайданова об Англии особенно важно иметь в виду при изучении истоков мировоззрения Пушкина. Их следует рассмотреть подробнее.

Отмечая, что Англия — «богатая страна», лектор продолжает:

«Но и в Англии великое богатство и расточительность исключительно принадлежат только нескольким — частным людям, а великая часть народа находится в крайней бедности. Сие чрезмерное богатство частных людей в Англии поддерживает самую конституцию, основанную, между прочим, на великом кредите, так что с лишением богатства или с падением конституции англичанин должен всего лишиться... английский богатый

лорд, купец или откупщик, сидя между своими сундуками, наполненными гинеями, желает и требует, чтобы ничто не мешало приращению его богатства. Тысячи рук работают для него, тысячи людей от него питаются, и он собою составляет капитал их. Сие-то богатство нескольких частных людей — лордов, купцов, откупщиков и помещиков — есть причиною того, что на Англию все смотрят как на «прекраснейшую картину народного благоденствия». Лектор отдает должное Лондону как «средоточию всемирной торговли», произведений народной промышленности, «сокровищ, доставляемых меркантильною системою». Но все достоинство человека определяется большею частию по его имению, а не по достоинствам или заслугам его. Сколь велико у него имяние? — есть большею частию и почти обыкновенный вопрос в Лондоне. Дворянином (*esquire*) называется в Англии всякий откупщик, если только он богат»⁶¹.

Правители Англии проводили реакционную внешнюю политику, презирали национальный суверенитет других стран, отстаивали политику угнетения колониальных народов, почитаемых «за ничто». Эти народы лишены всяких прав и служат лишь добыванию «колониальных произведений». «Все английские колонии единообразно управляются королем, наместниками и судьями. Но жители сих колоний имеют не одинаковые права. Природные англичане пользуются всеми правами, присвоенными Англии, и при судопроизводстве дел их наблюдаются такие же формы, как и в Англии, прочие же жители подвержены великому угнетению и должны сносить иго жестокого деспотизма. Особливо бедственная участь негров-невольников»⁶².

Все эти рассуждения, которые содержались в лицейских лекциях, носили остро злободневный характер. Лекции читались в период Венского конгресса, когда Александр I в тесном сотрудничестве с искусственными политическими деятелями Англии насаждал повсюду реакционные порядки. На Венском конгрессе Англия, по определению Маркса и Энгельса, стремилась «сохранить и расширить свое коммерческое превосходство, удержать львиную долю из колониального грабежа и ослабить всех остальных». Любопытно, что в лицейских лекциях также нашли отражение сведения о бурном для Англии 1816 годе, который был ознаменован в этой стране ши-

роким демократическим движением протеста против нищеты народа и критикой государственной системы⁶³.

Как известно, Пушкин в черновике «Путешествия из Москвы в Петербург» охарактеризовал английскую государственную систему в резких тонах, отметив раболепие «Нижней каморы перед Верхней; джентльменства перед аристократией; купечества перед джентльменством; бедности перед богатством», «тиранство» в Индии. На подобные нравы он указал и в статье, посвященной американской демократии, где подчеркнул «неумолимый эгоизм», «рабство негров посреди образованности и свободы» («Джон Теннер») и т. д. Эта критика была результатом глубоких наблюдений поэта за состоянием «новой образованности» и постоянного внимания его к вопросам международной политики. Но для исследования процесса формирования взглядов Пушкина очень важно знать, что критическое отношение к буржуазной цивилизации внушалось ему еще в Лицее. В лицейских лекциях (как и в позднейших статьях Пушкина) не ставился вопрос о том, возможно ли, следуя по пути «нового просвещения», избежать его отрицательных сторон: ответа на этот вопрос тогда и не могло быть дано по условиям времени. Но положительным в этих лекциях было то, что они освещали противоречия западноевропейской демократии, ее несовершенства и пороки, причем надо учесть, что критика эта велась не с реакционно-националистических позиций, а с прогрессивного фланга русской общественной мысли, представители которого внимательно изучали и ценили передовые элементы западноевропейской буржуазно-демократической культуры конца XVIII — начала XIX века.

Трактовка в этом же курсе другого острейшего вопроса, волновавшего русскую общественную мысль, — вопроса о современной Франции, в ряде моментов также близка тем взглядам, которые в дальнейшем высказывал Пушкин. В лицейских лекциях признается прогрессивное значение французской революции в ликвидации феодализма и борьбе за «права человека и гражданина», но в духе дворянского просветительства осуждаются «ужасы и кровопролития». Острота этой темы требовала от лектора величайшей осторожности: хотя раскаты революционной грозы давно утихли, говорить о ней в александровской России позволялось только в тоне поноше-

ния. К чести лицейского лектора он сумел найти такие «эластичные» формулировки, которые все же позволили охарактеризовать прогрессивную историческую роль французской революции. Слова же об «ужасах и кровопролитиях» следует отнести к действительным убеждениям автора (которые были свойственны, за небольшим исключением, широчайшим слоям дворянского освободительного движения). Вот как говорится в лекциях о роли революции:

«До времен французской революции феодальные права существовали во всей Франции, а посему дворянство во Франции было богато и чрезвычайно сильно, народ же во многих провинциях находился в великом угнетении. Революция потрясла сильно всю Францию и в короткое время ниспровергла все древние узаконения, а посему и феодальное правление совершенно истребилось во всей Франции и многие дворяне из богатейших сделались беднейшими и из сильных ничего не значащими. По разуму узаконений, изданных французами во время революции, все жители во Франции должны быть во всех своих правах и взаимных отношениях равны между собою, и каждый из них должен был называться гражданином (citoyen) — посему дворянство, особливо же наследственное, было уничтожено, равно как и рабство»⁶⁴.

Следовательно, ниспровержение «древних узаконений» — феодализма, уничтожение рабства, провозглашение равенства граждан — таковы итоги революции. Уничтожение дворянства как сословия, конечно, не поощряется лектором (лицейский вольнодумец не выходит за границы своего классового самосознания), но благотворные результаты революции для крестьянства признаются: «Ужасы и кровопролития, произведенные во Франции революцией, были в некотором отношении полезны только для *крестьян* и вообще для низкого состояния людей». О революционных выступлениях крестьян говорится отрицательно: «Расторгнув узы феодального правления, крестьяне предались влечению пагубнейших страстей, особливо мщению противу дворян, грабили и опустошали земли и владения дворян, и самые законы оправдывали тогда неистовые поступки их». Что же получили крестьяне? «Наполеон, укротив ярость революции, определил законами состояние крестьян. Они объяв-

лены были во всей Франции свободными от всех прежних своих помещиков, и теперь находятся они в зависимости от своих помещиков только потому, если они живут на землях их»⁶⁵.

Наполеон здесь же характеризуется как узурпатор народных прав, ликвидировавший демократические завоевания революции и лишь прикрывавшийся либеральной фразеологией. Он, «сделавшись повелителем французов, хотя и самовластно управлял ими, однако умел искусно скрыть свою неограниченную монархическую власть наружностями республики и названия *граждан* употреблял каждый его подданный. Но с того времени, как Наполеон торжественно провозгласил себя императором, сие название исчезло или по крайней мере не так часто и не все начали употреблять его. Наполеон, желая восстановить во Франции дворянство, ввел так называемое почетное дворянство (*légion d'honneur*), и к классу сих дворян причислялись все оказавшие какие-нибудь отличные заслуги отечеству... По разуму законов конституционного собрания, существовавшего во время революции, мещанство в правах своих равнялось дворянству, и каждый мещанин подобно дворянину назывался во Франции *гражданином* (*citoyen*). Со времени владычества Наполеона и особенно теперь дворянство несравненно важнее мещан»⁶⁶.

О превращении Наполеоном республики в монархию в лекциях сказано в тонах откровенного негодования. Наполеон, «подобно хитрому Октавию, умел превратить Французскую республику в монархию и титул консула, коим французский народ почтил его, наконец, на всю жизнь его, переменял на титул императора (18 мая н. с. 1804 года). В сем случае усматривается великое сходство между Римскою республикою, превращенною в монархию, и Французскою республикою, покорившеюся власти одного человека, притом великое сходство усматривается в поступках Октавия и Бонапарте! Подобно Октавию, хитрый Бонапарте оставил во Франции наружные формы республики, но в качестве начальника сей республики присвоил себе неограниченную власть над войском и, следовательно, над всеми гражданами»⁶⁷.

Эта характеристика Наполеона находит себе аналогию во всей прогрессивной русской журналистике и публицистике начала первых десятилетий XIX века.

Таковы основные идеи лицейских курсов нравственных и политических наук, подчиненных, как мы видим, общему плану идейно-политического воспитания лицеистов. Из нашего обзора следует, что даже такой общий теоретический курс, как естественное право, был теснейшим образом связан с злободневными вопросами русской действительности. Лекции, содержащие общие вопросы «нравственности», государственного устройства, политической жизни, подводили к изучению конкретной русской действительности, осмыслению прошлого России и перспектив ее развития (конечно, в рамках мировоззрения лицейских педагогов). Отсюда повторения одних и тех же общих идей в самых различных курсах, начиная от права естественного и кончая финансами.

Эти же принципы отражены в курсах риторики и эстетики — предметов, которые должны были особенно интересовать Пушкина как поэта.

Вопрос о содержании преподавания в Лицее литературы и эстетики является одним из наименее ясных вопросов биографии Пушкина лицейского периода. Отношения между Пушкиным и профессором российской и латинской словесности Лицея Н. Ф. Кошанским в пушкиноведении неоднократно освещались. Н. К. Пиксанов в статье «Н. Ф. Кошанский» в противовес другим исследователям восстановил действительное значение Кошанского как организатора литературной самодеятельности лицеистов. Факт этот несомненен (хотя эстетические вкусы этого педагога были старомодными). Что касается личных взаимоотношений Пушкина и Кошанского, то здесь расхождения были неизбежны. Попытки Кошанского, поклонника поэтики классицизма, педантически нивелировать вкусы своих учеников вызывали отрицательное отношение Пушкина к нему. В стихотворении «Моему Аристарху» (1815) Пушкин резко отвергает «уроки» Кошанского (то есть критику им пушкинской поэзии), называя его своим «гонителем», «скучным проповедником». Но, как отметил Д. П. Якубович, обычные представления о Кошанском «как только о «гонителе» и суровом «Аристархе»... касались больше всего стихотворной практики Пушкина и других лицейских поэтов». Нельзя забывать, что Кошанский вместе с тем вдушал лицеистам и опре-

деленное понимание задач литературы, назначения поэта, связи литературы с политическим развитием. Эта сторона его педагогической деятельности имела немаловажное значение, а между тем о ней почти ничего обычно не говорится⁶⁸.

Материалов об общественно-политических взглядах Кошанского лицейского и долицейского периода очень мало. Можно считать твердо установленным, что Кошанский был членом петербургской масонской ложи «Избранного Михаила», находившейся под влиянием «Союза спасения», а затем «Союза благоденствия»*. По воспоминаниям современника, в ложе произносились «смелые речи». Кошанский числился оратором («витией») ложи. О взглядах Кошанского можно судить по его рукописи, посвященной характеристике первого директора Лицея В. Ф. Малиновского. В отличие от краткого политически нейтрального некролога, напечатанного в «Сыне отечества», здесь дается подробное и весьма положительное освещение деятельности Малиновского и, в частности, сочувственно отмечается его «политический радикализм»⁶⁹.

Преподавание литературы велось в Лицее, как это предписывалось уставом, путем «чтения избранных мест», которое «должно быть сопровождается разбором». Содержание этих разборов дало бы, конечно, интереснейший материал для определения идейной направленности уроков Кошанского, однако документальные данные не сохранились. Но общие установки Кошанского становятся ясными из его статей и книг, которыми пользовались лицеисты. В особенности интересна бывшая в ходу у лицеистов «Ручная книга древней классической словесности», изданная Кошанским в двух томах в 1816—1817 годах**. Эта книга, построенная на материале античности, пропагандирует республиканские и демократические идеи в прямой и непосредственной форме.

Расцвет искусства в античной древности объясняется в книге следующим образом: «В числе важнейших причин, содействовавших успехам (искусств в Греции. — Б. М.),

* В ней состояли председатель Коренной управы «Союза благоденствия» Ф. П. Толстой, Федор Глинка, впоследствии Н. Бестужев, Кюхельбекер.

** На титульном листе указано, что материал книги собран Эшенбургом, умножен Крамером и дополнен Кошанским.

должно полагать, во-первых, счастливые дарования сего народа; потом образ их правления, республиканский и вольный; важность обычаев и обрядов». Далее говорится, что с потерей свободы, этого главнейшего условия процветания народной культуры, упала и самая культура: «С утратою свободы греки лишились нравственной деятельности и всех побуждений к славе. Впоследствии редко являли они ту силу ума и то совершенство, которыми отличались прежде. Напоследок, томясь под чуждою властью, уничтожавшею политическое бытие их, сие блистательное величие греков, сия слава нечувствительно помрачилась — и угасла»⁷⁰.

Еще решительнее мысль о прямой связи политической свободы с состоянием литературы проводится в характеристике римской словесности. В числе главнейших причин ее упадка отмечается утрата вольности и владычество деспотизма. Далее делается вывод более общий. Характеризуется упадок Рима после падения республики:

«Гибельная роскошь... сокрушила ту твердую опору, которая в цветущий век Рима поддерживала сей сильный дух народа, сие пылкое стремление к славе, не совместимое уже с упадком республики и с прежним возвышенным образом мыслей, чувств и деяний. С падением республики истинный вкус испорчен, чувство прекрасного исчезло: одни пустые прикрасы и мнимое, условное изящество имели цену»⁷¹.

Имеется в книге прославление республиканского образа правления и республиканских идей и без прямого отношения к классической словесности. Достойно изумления, что в годы, когда была издана эта книга, без всяких обиняков предпочтение отдается не аристократической, а «плебейской», демократической республике. В книге так и написано: «Рим сделался республикою и сначала управляем был аристократическими патрициями, потом плебеями, коих власть, поддерживаемая трибунами, возрастала непрерывно. В сие время владычество римлян возвысилось, могущество утвердилось, законы соделались благоразумнее и точнее; и в продолжение многих лет дух римлян был велик и благороден. Они отличались простотою и непорочностью нравов, высокостию предприятий, строгим правосудием, редким великодушием и бескорыстием, а более всего пламенною любовью к отечеству». В прогрессивной русской литературе конца XVIII — на-

чала XIX века прославление римской вольности было очень распространено. И все же восхищение «плебеями» в столь отчетливой форме было явлением достаточно редкостным ⁷².

Прославление античного республиканского правления в Лицее служило назиданием для современников. Мысль о таком отношении истории к современности насаждал в умах лицейстов и Кайданов. В обращении к воспитанникам он говорил, что «история рода человеческого есть важнейший для нас предмет по ближайшему его к нам отношению» и предлагал пользоваться «наставлениями и помощью истории» «во всяком роде жизни». А по поводу древней истории он же писал: «История древних веков представляет нам достопамятные зрелища и подает обильную пищу к размышлению... Мы видим многих истинно великих людей и, удивляясь их деяниям, подвигам и добродетели, чувствуем в себе желание подражать им». Эти же мысли проводил и Кошанский. Так, в своей книге он прославлял легендарного спартанского законодателя Ликурга, при котором был учрежден сенат и «народ принимал также великое участие в правлении», наслаждаясь «тишиной и свободой». Кроме того, в «Ручной книге древней классической словесности» Кошанский позволял себе не только историко-литературные параллели; он переходит к прямым поучениям русского царя — Александра I, заявляя в духе либеральных чаяний 10-х годов: «...остается желать, когда наш Август... дарует мир вселенной и *золотой* век России». Надо заметить, что такие термины, как «золотой век», «общая слава отечества», «всеобщее благо», часто встречающиеся в лекциях Кошанского, а также прославление «законности» и народного представительства воспринималось лицейстами как прямое продолжение лекций Куницына ⁷³.

Помимо словесности, Кошанский должен был читать курс по теории красноречия и эстетики.

В мае 1814 года Кошанский заболел, и занятия вместо него до июня 1815 года вел адъюнкт Педагогического института Галич, а затем с 1815 года Кошанского замещал П. Е. Георгиевский. Записанные в лицейских тетрадах Горчакова курсы «ораторской изящной прозы или красноречия» и «введения в эстетику» читались Георгиевским. В качестве адъюнкта «при профессоре» Георгиевский должен был согласовывать содержание

своих лекций с Кошанским. Несомненно также, что в записях Георгиевского ряд положений и отдельные места принадлежат непосредственно Кошанскому.

О лекциях Георгиевского, до того как нашлись лицейские тетради, можно было судить только на основании куплетов, сочиненных лицеистами и записанных Пушкиным в лицейском дневнике:

Предположив — и дальше
На грацию намек,
Ну-с — Августин богослов —
Профессор Бутервек

Потом Ниобы группа —
Кореджиев тьмо-свет,
Прелестна Грациозность
И счастлив он поэт

Лицеисты, подшучивавшие в своих «песнях» над недостатками преподавателей, вероятно желали отметить здесь невразумительность некоторых формулировок и положений Георгиевского. Однако записи лекций свидетельствуют, что мнение о «высокопарности» стиля Георгиевского явно преувеличено. Что касается уровня лекций, то даже такой мрачный скептик, отрицательно оценивавший все лицейское, как М. А. Корф, признал в своих воспоминаниях «основательные познания» Георгиевского⁷⁴.

«Теория красноречия», которая читалась лицеистам, не была попросту разделом риторики, не имеющим особо практического значения. Эти лекции были рассчитаны на будущих политических ораторов. Они строились в надежде на то, что лицеисты, «предназначенные для важнейших частей службы государственной», будут отстаивать в своих речах те «права человека и гражданина», о которых столько говорилось им в этом учебном заведении.

Значение этих лицейских лекций становится в полной мере ясным, если учесть, что освещенные в них вопросы «ораторства», истории витийства глубоко интересовали деятелей освободительного движения, а само «витийство» считалось неотъемлемым качеством всякого истинного «друга свободы и просвещения». Статьи на эти темы печатались в журналах 20-х годов, находившихся под влиянием деятелей тайных обществ, — в «Сыне отечества» и «Соревнователе просвещения и благотворения».

Прямые аналогии между ролью народных трибунов древнего мира и современными агитаторами за свободу

встречаются в документах декабристов. Так, например, В. Ф. Раевский, заточенный в крепость за политическое просвещение солдат, писал в 1821 году своему сообщнику Охотникову: «Взошел на кафедру перед 9-ю егерскою ротою и во имя Демосфена, Цицерона... загремел о подвигах предков наших, о наших собственных подвигах, о будущих наших подвигах»⁷⁵.

Характеристика декабристов в десятой главе «Евгения Онегина» содержит любопытное указание: «*витийством* резким знамениты». В стихотворении «Деревня» Пушкин, говоря об «измученных рабах», восклицает:

О, если б голос мой умел сердца тревожить!
Почто в груди моей горит бесплодный жар
И не дан мне судьбой *витийства* грозный дар? *

Далее раскрывается цель витийства: способствовать падению рабства и воцарению «свободы просвещенной».

В лекциях по красноречию расшифровывается цель «искусства красноречия», этой «самой драгоценной способности человека»: «Сею-то руководясь способностью... защитник невинности возвышает в судилищах глас свой; человек государственный рассуждает в советах о участи народов; гражданин защищает пред лицом законов вольность и свободу; достойный вития, прославляющий дарование и добродетель, приписует им похвалы, служащие для одних ободрением, для других укоризною, а для всех поучением, наконец любомудствующий словесник prepares в безмолвном убежище те мужественные опровержения, которыми на суд всеобщего мнения предаются злоупотребления, заблуждения и преступления. Такова важность и плоды истинного красноречия»⁷⁶.

В лицейских лекциях предметы (то есть темы) ораторства разделяются на похвальные, советодательные и судебные. Цель похвального красноречия, как указывается, «хвалить или хулить» и в качестве «хулительных» образцов приводится, в частности, речь Цицерона против Марка Антония, дающая картину «всех мерзостей, всех злодеяний Марка Антония».

Советодательное красноречие — это ораторский род, употреблявшийся «вдревле в делах государственных

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

пред народом или в сенате», где «было рассуждаемо о делах общественных, о войне, о мире, о переговорах, о пользах государства и о всяких предметах, до законодательства относящихся». Известно, что о возможности такого рода публичных, парламентских «рассуждений» и мечтали основатели Лицея. Но «разность нравов и правлений не позволяет в новейшие времена пользоваться сим родом красноречия», элегически замечает лектор. Это различие хорошо вскрыто в характеристике судебного красноречия, где прямо говорится о противоположности полигических нравов в древних республиках Греции и Рима, с одной стороны, и в александровской России — с другой. «Наши суды, — читаем мы в записях Горчакова, — не походят на суды древних греков и римлян: у нас частные люди не бывают обвинителями; нет таких спорных дел, которые вносились бы на решение народа. К сущности судебного красноречия вдревле относилось: в чем состоит какое-либо разбираемое дело? Основательно ли оно? Преступление ли оно, или нет? Под какой подходит закон? Лета, звание, нравы, свойство, выгоды, состояние обвиняемого доказывают ли вероятность, или невероятность приписуемой ему вины?»⁷⁷

Сравнивая принципы публичности, обстоятельности, «беспристрастности» суда в древних республиках с порядками современного суда, лектор рисует такую картину: «Вы являетесь пред судей, коих не столь легко можно преклонить одним красноречием. Вы знаете, с какими силами выходит ваш соперник. Подобно двум борцам, каждый из вас должен быть готов на все уловки противника, каждый из вас является с доводами более или менее убедительными. Но какая разница между ними и вами! Посреди их лежит венок дубовый, который тому или другому достанется. Посреди вас стоит подобный вам человек, и горе вам, если невинность повлекут в темницу! Кровь на вас и на сынах ваших!»⁷⁸

Причины успехов древнего красноречия освещаются в лицейских лекциях в таком же духе, как и в упомянутой выше «Ручной книге древней классической словесности». Деспотизм и красноречие, по словам лектора, взаимно исключают одно другое: «Первые возникнувшие государства — ассирийское и египетское — были деспотические; единая или несколько особ управляли государством, а прочие были послушные рабы и слепо повинно-

вались; они были принуждаемы, а не уверяемы, и, следовательно, красноречие и убеждение здесь не могли иметь места». Иное дело при образах правления республиканских: «В истории ума человеческого достойно примечания то, что две возникнувшие республики оставили всему свету редкие образцы поэзии и красноречия. Из недр вольности двукратно распространялся по лицу земному свет изящного вкуса, еще и поныне озаряющий благоустроенные народы». Витийство образовалось в собраниях народных. Очень высоко оценивается в лекциях Перикл, этот страстный приверженец демократии, разогнавший аристократический ареопаг и передавший власть народному собранию. «Он был более нежели оратор», — замечено в лекциях; «он был министр и полководец... По уверению многих, он первый написал речь для народного собрания»⁷⁹. Образ Перикла («Периклеса») был окружен ореолом и в сознании Пушкина; достаточно напомнить его надпись «К портрету Чаадаева»:

Он вышней волею небес
Рожден в оковах службы царской;
Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес,
А здесь он — офицер гусарский.

Надпись была сочинена Пушкиным в Лицее, и восторженная характеристика Перикла в лицейских лекциях полнее раскрывает внутренний смысл этой надписи.

Но самая высокая оценка дана в лекциях по теории ораторской прозы другому афинскому оратору и борцу с аристократами — Демосфену, знаменитому своими обличительными речами против македонского монарха. «Первый оратор» — так именуется он здесь, причем достоинствами его признаются не «украшение и блеск», а «отважные мысли», ибо «мы забываем об ораторе и помышляем о предмете». В конце раздела о древнегреческом красноречии имеется краткое, но энергичное утверждение: «По смерти Демосфена Греция потеряла свою свободу, а вместе и красноречие». В следующей части лекций — «успехи римского красноречия», соответственно утверждается: «Владычество красноречия римского погибло вместе с... республикою... Провидение послало на римлян, может быть в отмщение за человечество, дотеле им попираемое, тиранов и бичей в помазанниках. Могло ли красноречие, любимое дитя свободы, процветать при таком положении государства?»⁸⁰

В краткой характеристике ораторского искусства «новейших времен» лектор не находит «соревнователей Демосфену и Цицерону». Отмечается, что в английском парламенте красноречие было «всегда слабейшее оружие, нежели в греческих и римских народных собраниях». Об ораторах французской революции сказано глухо, но сочувственно: «Некоторые из революционистов довольно отличились на сем поприще». А в самом конце курса красноречия сделано примечание, которое должно было, говоря словами лицейского устава, «возбуждать действие ума»: «Здесь у места будет показать причины, почему новейшие не достигли и не делали таких успехов в красноречии, какие сделаны греками и римлянами». Эти причины здесь не указаны, но ответ на вопрос дан содержанием всей лекции, из которой следует вывод: деспотизм и красноречие несовместимы⁸¹.

Таково общее идейно-политическое и воспитательное значение занятий, которые вели Кошанский и Георгиевский. Но в этих занятиях содержалось нечто особенно важное для Пушкина как поэта.

Одним из ценнейших достоинств курсов Кошанского и Георгиевского является трактовка античности в том духе, который был присущ передовой русской общественной мысли конца XVIII — начала XIX века. Прославление гражданских доблестей республиканских героев античной древности было свойственно еще Радищеву и наиболее ярко выражено в творчестве Пушкина и поэтов-декабристов. Материалы лицейских лекций дают полное основание утверждать, что осмысление античной культуры в ее республиканских освободительных традициях связано в творчестве Пушкина с традициями Радищева, русского просветительства и преподавателей Царско-сельского лицея. Античные образы, которые занимают столь обширное место в лирике Пушкина лицейского периода (да и в позднейшей), — это не внешнее обращение к древности светского юноши, который всего лишь

...знал довольно по-латыне,
Чтоб эпиграфы разбирать,
Потолковать об Ювенале,
В конце письма поставить *vale*,
Да помнил, хоть не без греха,
Из Энеиды два стиха.

«Евгений Онегин», гл. I

Пушкин, как и другие передовые люди начала XIX века, наследие античной древности использовал в борьбе за свободу. В героях античной демократии они видели примеры, на которых могло воспитываться молодое поколение. Декабрист Каховский показал на следствии, что он был «воспламенен героями древности». Еще яснее упомянул об этом же Пестель, говоря об истоках своего мировоззрения: «Я сравнивал величественную славу Рима во дни республики с плачевным ее уделом под правлением императоров». По воспоминаниям Якушкина, при вовлечении полковника Граббе в тайное общество ему давали читать письма Брута к Цицерону. Образы героев древности использовались в александровской России также для политических иносказаний, имена их служили как бы условными «сигналами»*, пробуждавшими в сознании читателя вольнолюбивые идеи⁸².

Только вследствие такого восприятия античности вся передовая Россия сразу увидела в сатире Рылеева не «подлого» римского временщика, а образ Аракчеева («К временщику»). Прославляя «врага царей» Катона, Рылеев призывал к борьбе за свободу. В силу этого же Пушкин в стихах именовал себя Катонем, писал о Чаадаеве как о потенциальном Перикле, называл Федора Глинку Аристидом, а себя Овидием, будучи уверенным, что читатель отождествит гонителя Овидия, императора Августа, с Александром I. Такую систему осмысления и использования образов античности Пушкин усвоил, как мы видели, еще в Лицее, применив ее уже в своем первом произведении на политическую тему — в стихотворении «Лицинию» (1815). Это стихотворение обычно возводилось только к книжным источникам. После тщетных попыток найти его прямой источник в какой-либо сатире Ювенала, было указано, что Пушкин перелагал здесь идеи Монтескье. Между тем теперь можно не в форме догадок, а с полной определенностью сказать, что стихотворение «Лицинию» написано под прямым влиянием лицейских лекций (ср., например, конец стихотворения — «Свободой Рим возрос, а рабством погублен» с

* Термин, введенный В. Гофманом в его статье «Литературное дело Рылеева» (Рылеев, Стихотворения, «Библиотека поэта», 1934, стр. 41).

приведенными выше словами Кошанского и Георгиевского о расцвете культуры в Римской республике и ее упадке вместе с падением республики). Обращаясь в своем стихотворении к далеким временам Римской империи, Пушкин проводит явную аналогию с современной ему александровской Россией, где ликторы «народ несчастный гонят», где царят продажность, преклонение перед властью деспота, рабство, злодеянья, где «все на откуп: законы, прavoта». В пушкинских стихах:

Я сердцем римлянин; кипит в груди свобода;
Во мне не дремлет дух великого народа.

ощущается та же аналогия между героическими образами прошлого и современностью, которая так часто проводилась в лицейских лекциях.

Немало интересного для Пушкина как для поэта содержали (наряду с устаревшими, догматическими понятиями) курсы теории поэзии и введения в эстетику, читанные в Лицее.

В первом из этих курсов лицеистам внушалось, что поэзия должна служить «к полезному в нашей жизни употреблению», а не быть «одним токмо мечтательным занятием нашего воображения или сердца». Главная цель поэзии — возбуждать страсти; «... патриотизм, торжество добродетели — вот страсти, долженствующие быть предметом поэзии»⁸³.

Главное качество поэта «состоит в обилии высоких идей», в умении соединить «прекрасное, важное и великое», возжигать в сердцах людей «честные и похвальные побуждения». В числе поэтов, оправдавших свое великое назначение, называется поэт Тиртей, который «своих соотечественников водил на сражение и песнями своими вдыхал в них (спартанцев. — Б. М.) непреодолимое мужество», и Гомер — учитель «политиков, героев и каждого человека». На первое место выдвинута в лекциях поэзия высоких мыслей и чувств, заключающих в себе «философию жизни». Но большая часть лекций по теории поэзии посвящена оде; эта часть представляет собою восхваление оды, и особенно оды героической, предмет которой — «отличные деяния великих мужей» или «важнейшие общественные происшествия». Вряд ли это вызывало сочувствие Пушкина, который уже в то время шире смотрел на проблему жанров⁸⁴.

Впечатления от лицейских лекций должны были сыграть некоторую роль и в очень рано сложившемся у Пушкина (а также у Кюхельбекера) убеждении в героическом, высоком призвании поэта. Это была любимая тема Кошанского и Георгиевского, развитием которой они продолжали традицию передовой русской литературы в оценке роли писателя. О высоком предназначении поэта писал Кошанский в статье «Каков должен быть истинный художник», дважды напечатанной в русских журналах (в 1807 и 1818 годах). Тема поэта-пророка, учителя народа, взор которого видит дальше современников, отчетливо звучит в лекциях и по теории поэзии и по эстетике. На этих лекциях Пушкину говорили, что «высокое воображение возносит поэта выше понятия обыкновенных людей и заставляет их сильными выражениями своими то живо чувствовать, чего они не знали и что им прежде на мысль не приходило». Но, как следует из лекций по эстетике, эта трактовка роли поэта как «земного пророка» была свободна от всякого религиозно-мистического привкуса: поэт зависит от времени и черпает в нем свою силу. «Время, в которое живет он, предметы, которыми он занимается, народный характер его современников и другие случайные, но действующие на ум его обстоятельства должны быть подпорою природной его способности», — говорилось в лекциях. И дальше эта мысль конкретизируется: «Вития с умом и духом Демосфена или Цицерона в отечестве сибаритов пленял бы слушателей не иным чем, как токмо остроумными безделками, отнюдь не высокими мыслями». Таким образом, взгляд на поэта как на «земного пророка» не был религиозно-мистическим, а просветительским, близким к трактовке этой темы у Кюхельбекера и Пушкина ⁸⁵.

Как просветительский следует характеризовать лицейский курс эстетики в целом. Этот курс представляет собою интересное явление в истории русской эстетической мысли начала XIX века.

Главнейшие положения курса эстетики могут быть сведены к следующему.

Источник красоты — природа. «Изящное искусство... так относится к природе, как копия к образцу». «...красота находится в природе, в искусствах, но, собственно говоря, природа есть единственный ее источник; что же

касается до искусств. то они собственной красоты не имеют, а что в них есть прекрасного, то они переняли у природы»⁸⁶. По старинке поэзия определяется как подражание изящной природе, но подчеркивается, что критерий оценки прекрасного — верность природе, сравнение «оригинала со списком». Георгиевский опровергает мнения «школьных метафизиков», «кои идеал почитают только принадлежащим к искусству и совершенно отказывают природе в идеале». «Посмотрите, — продолжал он, — на прекрасное человеческое лицо, коего каждая одушевленная черта, каждый взгляд выражает чувство и мысль. Разве это не идеал?» На этом основании Георгиевский называет идеал французского классицизма «искусственным и потому ложным»: «природный тон, мода суть у них законы, заменяющие законы природы». Определяется же истинность красоты «всеобщим мнением просвещенных людей»⁸⁷.

Искусство не терпит ни формализма, ни стеснения догматическими правилами. «...С одним формальным понятием об изящном истинная эстетика не делает больших успехов». Художник должен творить в силу естественных законов природы, ибо «свободное эстетическое чувство не следует никакой системе». Да и «что есть эстетическое выражение?» — спрашивает Георгиевский и отвечает: «Свободный отпечаток мысли и чувствования»⁸⁸.

Критерий прекрасного Георгиевский формулирует на основе рационалистических умозаключений: «Мы изящным называем все то, что удовлетворяет эстетической потребности по всеобщим законам естественного и согласно с разумом». Поэтому безобразное, противоречащее «благородному образу мыслей» и высокой нравственности, исключается из области прекрасного: «Оскорбление нравственного чувства... изгоняет из встревоженного сердца эстетическое удовольствие». Большое место в эстетике занимают вопросы этики и морали⁸⁹.

Свое понятие нравственности Георгиевский подробно развертывает в этом же курсе эстетики, в разделе «О великих характерах». Появление «великих характеров» лектор связывает с эпохами, «ознаменовавшими себя общественной образованностью». Такой эпохой он считает «те минуты свободы и поэзии, когда... Спарта и Афины сражались за свободу... когда римляне сражались за империю как за единственную споручницу своей воль-

ности... Тогда-то появилось множество великих характеров, коих высота приводит нас в изумление и заставляет стыдиться нашей слабости»*. Проникновенные страницы посвящены в лекциях Георгиевского твердости духа, никакими противностями не колеблемого», отважности, мужества, не удерживаемого никакими препятствиями, характеру, «пребывающему спокойным при всех опасностях», «спокойному величию души, твердой и непоколебимой», «сопротивляющейся жестоким ударам». В качестве примеров приводятся «непреклонный дух» Катона-младшего, который лишил себя жизни, не желая пережить падения республики. В лекциях восхваляются «граждане совершенные, благородные, мужественные, которые рождались, жили и умирали под чистым владычеством понятий, дышали единственно для свободы и отечества...»⁹⁰

В определении качеств истинного героя мы встречаем ту же терминологию, которой были наполнены лекции Куницына: «благо общее» и «отечество». Здесь дан облик героического характера, который мы знаем также из поэзии Пушкина, Кюхельбекера и других поэтов (уже нелицейского круга), прославлявших гражданскую доблесть, общее благо, отечество, самоотверженность великих характеров. Идеал великого характера заключается, по Георгиевскому, в том, чтобы «совершенно обнять одно из сих великих понятий, обнять не только всею силою, но и со всем жаром чувствования, превратить оное в идею, господствующую над целой жизнью, сделать оное душою души своей». Забывая о самом предмете эстетики, Георгиевский заканчивает свое рассуждение напоминанием о людях, решившихся на «отважные предприятия», «продолжительные и многотрудные упражнения, коих плодами предоставлено пользоваться потомству», о людях, отличавшихся «твердым намерением увековечить имя свое в потомстве», прямодушием, свободой, благородной простотой нравов⁹¹.

Так соединялись в сознании лицеистов история и современность, политика и литература, наука и обществен-

* Переходя к примерам «великих характеров», Георгиевский из русских указывает лишь на Петра, «творца России», который был увлечен стремлением обезопасить гражданскую независимость своего отечества и гнушался «всеобщим порабощением».

ная жизнь, этика и эстетика. Каковы бы ни были различия во взглядах Куницына и Кайданова, Кошанского и Георгиевского, их лекции, читанные в Лицее Пушкину и его сверстникам, отражали многие существенные стороны русского просветительства и передовой русской общественной мысли той поры.

Из лицейских преподавателей заслуживает упоминания яркая и своеобразная фигура француза Будри, родного брата Марата. Будри читал французскую риторику. В архиве Горчакова сохранились лишь записи отрывков из произведений французских писателей, которые разбирались на лекциях. Среди отрывков преобладают произведения с гражданской, политической направленностью (из Вольтера, Расина и др.). Позже, в 30-е годы, Пушкин вспоминал о Будри: «Он очень уважал память своего брата (то есть Марата. — Б. М.) и однажды в классе, говоря о Робеспьере, сказал нам, как ни в чем не бывало: «C'est lui qui sous main travailla l'esprit de Charlotte Corday et fit de cette fille un second Ravailiac»*. Пушкин отмечает также «демократические мысли» Будри, внешность, напоминающую якобинца, хотя он и был «очень ловкий придворный». («Table-talk»). Прав Л. П. Гроссман, утверждая, что в Лицее этот профессор знакомил слушателей с атмосферой героической эпохи Франции и ее выдающимися деятелями⁹².

Из нашего анализа лицейских лекций мы можем заключить, что в лицейской педагогике по-своему отразились те глубокие процессы общественного движения, которые представляли собою идеологическую подготовку декабризма. Вот почему в ответах декабристов на вопросы следственного комитета об источниках их вольномыслия мы встречаем ссылки на усвоение тех же теорий, которые пропагандировались в лекциях лицейских профессоров (хотя эти профессора вовсе не были революционерами). Вот почему Пестель, Муравьев, Федор Глинка, Оболенский, Бурцов, П. Колошин и другие декабристы собирались тесным кружком для слушания лекций Куницына, которые затем повторяли по его же тетрадам. Вот почему такие книги, как «Опыт теории налогов» Н. Тургенева (по своей программе не более радикальный,

* Это он тайком обработал ум Шарлотты Кордэ и сделал из этой девушки второго Равальяка (франц.).

чем лекции Куницына), после восстания декабристов изымались и уничтожались, а «Право естественное» Куницына еще до декабрьской катастрофы постигла такая же участь.

Совокупность идей, пропагандировавшихся в Лицее, — это не результат только личной мысли преподавателей: они выражали определенную традицию прогрессивной русской культуры начала века, традицию, умноженную всенародным подъемом великого национального освободительного движения в эпоху войны с Наполеоном и в преддверии декабризма. На их взгляды влияло разложение крепостнического уклада и проникновение новых, враждебных феодализму, капиталистических тенденций в экономику России, чисто дворянская боязнь крестьянских революций и сочувствие угнетенному народу, ненависть к деспотизму и либеральные иллюзии — все те сложные условия русской жизни, которые в той или иной степени определяли мировоззрение людей пушкинской эпохи.

Декабрист Штейнгель писал о лицейстах: «Свободомысле, внушенное в высочайшей степени, поставило их в совершенную противоположность со всем тем, что они должны были встретить в отечестве своем при вступлении в свет». В этих словах и правда и преувеличение. Свободомысле лицейских профессоров было важным фактором в формировании мировоззрения лицейстов, но одного этого фактора было недостаточно. Политические убеждения складывались в результате многих факторов, среди которых впечатления самой жизни и их переработка, классовые традиции, общественное окружение играли огромную роль. Далеко не на всех воспитанниках отразилась система лицейского воспитания: многие из них очень рано обнаружили стремление к совершенно противоположным жизненным идеалам. В Лицее шла борьба, борьба убеждений, взглядов, характеров, борьба и в среде преподавателей и в среде воспитанников. Эта борьба выходила за пределы Лицея⁹³.



Глава третья

РАЗНЫЕ ПУТИ

...удел назначен нам не равный,
И розно наш оставим в жизни след...
Пушкин (1817).

1

Стихотворение Пушкина «Товарищам», написанное перед выпуском из Лицея, говорит о разных жизненных стремлениях воспитанников. Одни из них мечтали о военной карьере:

Иной, под кивер спрятав ум,
Уже в воинственном наряде
Гусарской саблею махнул —
В крещенской утренней прохладе
Красиво мерзнет на параде,
А греться едет в караул...

Иные готовились к чиновничьей, служебной карьере, не гнушаясь связанными с ней низкопоклонством, лестью и покорностью «вышестоящему начальству». Пушкин с иронией и презрением говорил о таких своих сверстниках:

Другой, рожденный быть вельможей,
Не честь, а почести любя,
У плута знатного в прихожей
Покорным плутом зрит себя...

Сквозь непреодоленные еще в его раннем творчестве карамзинистские мотивы беспечности, «счастливой лени» вырисовывается позиция сторонника свободы и независимости:

Равны мне писари, уланы,
Равны законы, кивера,
Не рвусь я грудью в капитаны,
И не ползу в ассессора;
Друзья! немного снисхожденья —
Оставьте красный мне колпак,
Пока его за прегрешенья,
Не променял я на шишак...

В автографе этого стихотворения вместо «Равны законы, кивера» читаем: «Равны *Наказ* и кивера», то есть «Наказ» Екатерины (пресловутый «Наказ» Екатерины, написанный императрицей для комиссии по составлению нового уложения). Пушкин при окончании Лицея отвергал, следовательно, и чиновничью деятельность по «улучшению законов», пределом которой для либералов-постепеновцев были тогда мечты о претворении в жизнь «Наказа» Екатерины. «Красный колпак», при котором хотел остаться Пушкин, — фригийская шапочка французских революционеров — поэтический символ свободолюбия.

Система лицейского воспитания, впечатления окружающей жизни, героика двенадцатого года — все это настойчиво выдвигало перед каждым из воспитанников проблему жизненного пути, вопрос о своем месте в александровской России.

В начале XIX века размежевание, расслоение сторонников старого и нового, сил прогресса и реакции, сторонников старой и новой культуры шло по всем линиям общественной жизни, оно вторгалось в литературные кружки и салоны, разрывало, казалось, уже налаженные дружеские связи и всюду способствовало прояснению реальных, практических целей борющихся политических направлений и социальных групп. Это противопоставление старого и нового отражалось и в литературных дискуссиях (показательно само название длительной полемики о «старом и новом слоге») и в прямых политических декларациях (такова и знаменитая записка Карамзина «О древней и новой России»). В политическом обиходе получили полное признание разговоры о «борьбе партий»,

В Лицее, как в зеркале, отражались типические противоречия времени.

Надзиратель Лицея Пилецкий-Урбанович еще в 1812 году с возмущением писал о внутрелицейской жизни: «Где нет... единообразия в правилах, там образуются партии, между собою несогласные». Далее мы увидим, как многозначительны были мимоходом сказанные И. И. Пущиным слова о том, что в лицейской «товарищеской семье» образовались «свои кружки» и «в этих кружках начали обозначаться, больше или меньше, личности каждого»¹.

Вопрос об идейном и политическом расслоении среди лицеистов пушкинского выпуска выходит за пределы не только истории Лицея, но и биографии Пушкина. В этом расслоении отразилось различие интересов, идейная борьба среди молодого поколения эпохи, разность стремлений.

Политические условия александровской России наложили определенную двойственность на весь уклад царского Лицея. Это проявилось во всем, начиная от всякого рода внешних форм и кончая воспитанием и преподаванием. Жизнь Лицея официальной стороной была обращена к своему основателю — Александру I и официозной дворянской общественности. С этой стороной были связаны выпренные речи наставников на торжественных собраниях, парадные синие мундиры лицеистов и высокопарные благодарения монарху, инсценированные публичные экзамены и заказные стихи (вроде стихотворения «Безверие», которое шестнадцатилетний Пушкин был вынужден написать по приказанию начальства). Но за этим таилась другая жизнь: лекции Куницына, беседы Малиновского, политические споры, чтение и сочинение воспитанниками «вольных» произведений, борьба с теми людьми, которые представляли враждебную силу внутри Лицея и вне его.

С одной стороны — подчиненность Лицея самому царю, с другой — введение таких методов воспитания и обучения, которые в корне противоположны всей системе образования в феодально-крепостнической России. С одной стороны — точная регламентация задач заведения для воспитания «лиц, особо предназначенных для службы государственной», с другой — такой порядок внутрелицейской жизни, который скорее способствовал презрению ко

всему, что являлось в то время основами «службы государственной».

В центре идейного расслоения лицейстов был Пушкин. Он ярче всего олицетворял в это время политические настроения передовой группы воспитанников. Еще в Лицее самый облик юного Пушкина вырисовывался как облик человека нового поколения, выступавшего противником феодально-крепостнических порядков в жизни и в политике, в быту и в литературе.

Для того чтобы полнее охарактеризовать и роль Пушкина в Лицее, и расслоение, происходившее в стенах этого учебного заведения, нужно представить лицейское окружение Пушкина в его истинном виде.

Задача эта нелегка: безвозвратно погибли ценнейшие материалы, которые помогли бы с исчерпывающей полнотой раскрыть борьбу идейных направлений внутри Лицея, роль Пушкина в этой борьбе. Пушкин сжег свои лицейские записки в 1825 году, опасаясь обыска. Эта же участь постигла, вероятно, ранний дневник Кюхельбекера. Пущин уничтожил свой дневник и материалы потайного лицейского архива перед арестом. Воссоздать черты «лицейского союза» можно лишь из случайно уцелевших документов, немногих писем, обрывков поздних воспоминаний. И все же, несмотря на ограниченный материал, общую картину можно восстановить.

Как мы уже выяснили в первой главе, буржуазное литературоведение намеренно затушевывало идейное расслоение внутри Лицея и рисовало «лицейский союз» как монолитный коллектив всех воспитанников. Но эта легенда рассыпается при первом же соприкосновении с фактами.

Безнадежна была бы попытка судить об облике сверстников Пушкина на основании таких документов, как, например, официальные лицейские отзывы. Почти все они намеренно сглаженные и однотипные. Что могут дать, например, такие аттестации: «Тырков (Александр)... Чувствуя слабые свои дарования, он сделался весьма старательным и прилежным, хотя при всем том успехи медленны. Довольно благонравен, кроток, усерден, опрятен. Случающиеся угрюмость, упрямство, гнев и самая даже молчаливость с застенчивостью, неловкость его и нерасторопность происходят более от недостатка в воспитании и образовании; оттого и выражается он несвяз-

но, сбивчиво и более механически, нежели по размышлению. Впрочем, он указывает искреннее желание образоваться, и постоянное, неослабное прилежание подает надежду, что из него выйдет со временем по крайней мере полезный и добрый человек». Эта характеристика типична: регулярно посылавшиеся в министерство «отчеты о поведении и свойствах господ воспитанников» должны были создать у высшего начальства впечатление общего благополучия, и словечко «впрочем» извиняло любые «проступки» и поведение, совсем не «отменное». Поэтому официальные отзывы лицейской администрации мало пригодны для исследователя².

Восстановлению картины так называемой «лицейской семьи» может помочь замечательный документ — характеристики лицеистов пушкинского выпуска, которые составил лично для себя Энгельгардт. До сих пор из двадцати девяти его характеристик были опубликованы только три — Пушкина, Кюхельбекера и Дельвига (при том все три с пропусками и в перевранном переводе). За исключением нескольких поверхностных или ошибочных суждений эти характеристики отличаются проникновенностью, отмечены мастерством незаурядного педагога. Некоторые из энгельгардтовских характеристик являются миниатюрными художественно законченными портретами.

Общий критерий, на котором они основаны, — это степень одаренности, морального уровня, интеллектуального развития воспитанников. С презрением обрисованы здесь обывательски настроенные лицеисты, живущие без всяких увлечений, чуждые высоким стремлениям, равнодушные к идейным интересам. Нами уже отмечалось, что по сравнению с Малиновским или Куницыным прогрессивность Энгельгардта была весьма умеренной. Но и он, будучи захвачен «духом времени», старался поддерживать лучшие традиции Лицея. В одном из писем Кюхельбекеру он, например, писал: «...доколе человек не умер, он должен иметь беспрестанно в виду великую цель: споспешествовать к общему благу». Это расплывчатая терминология, однако она, подобно камертону, настраивала собеседника на привычный лад лицейских рассуждений об «общем благе»³.

Среди товарищей Пушкина по Лицею были такие, самый облик которых полностью противоречил идейным и нравственным нормам лучших лицеистов. Таков,

например, Костенский, который стал впоследствии заурядным чиновником. Его Энгельгардт характеризует следующим образом:

«Старый миф, который заставляет Прометея орошать слезами глину, превращая ее в людей, воплощен в нем наиболее материально; тяжелая и сырая глина, и ничего более, и ему не приходится бранить Прометея за воровство, так как для него Прометей не украл ни малейшей искорки небесного огня... * В своей внешности он проявляет много тщеславия, редко показывается иначе, чем упершись в бока руками. Так как он одарен от природы очень скудно, то его прилежание почти ни к чему не приводит»⁴.

Характеристики бесцветных воспитанников, данные Энгельгардтом, совпадают с той оценкой, которую давали им лучшие лицеисты. Например, Мясоедов (изображенный лицейским карикатуристом с ослиной головой на человеческом туловище и прозванный в «Национальных лицейских песнях» «Мясожоровым») получил в записях Энгельгардта такую характеристику: «Никто так хорошо и элегантно не одевается, никто так изящно не разглаживает своей челки, никто не умеет так изящно пользоваться своим лорнетом, никто не хотел бы так, как он, уже сейчас стать гусаром, но никто меньше его не пригоден и не имеет охоты к серьезным занятиям. Так как он все же исключительно высокого мнения о себе и о своих познаниях, то при выговорах он, где только смеет, бывает груб, и у гувернера и инструктора происходят с ним иногда сцены»⁵.

Не менее убийственно обрисован Энгельгардтом Тыров (лицейская кличка «Кирпичный брус»): «Его прежним воспитанием, должно быть, очень пренебрегали, так как на нем лежит печать пошлости. Велика его беспомощность, велико его невежество во всем. Но в нем нет совершенно ничего плохого, и, я думаю, он бы охотно что-нибудь совершил, если бы ему в этом постоянно не препятствовала его убого одаренная натура»⁶.

* В характеристиках, написанных Энгельгардтом, в качестве психологического фона не раз упоминается героический образ Прометея. Прометей был любимым образом лицейских поэтов, о нем говорилось немало в лекциях по словесности, эстетике, изящным искусствам. Миф о Прометее служил воспитанию героического характера, воодушевленного «высокой целью».

Рядом с такого рода совершенно бездарными и тупыми людьми в Лицее была прослойка воспитанников, хотя и находившихся на неплохом счету, но из-за своей бесцветности получивших прозвище «ни рыба ни мясо». Их успехи и поведение с точки зрения официальных педагогических требований были безупречными, и Энгельгардт, это отмечая, вместе с тем подчеркивает их ограниченность.

Вот Стевен, вечный молчалник, впоследствии выборгский губернатор: «Очень добродушный и притом деятельный ученик. Не имея выдающихся способностей, он благодаря своему прилежанию принадлежит к лучшим ученикам. Осторожный и скромный в поведении, он редко подвергается наказаниям. Впрочем, в его физическом облике есть что-то беспомощное и тяжеловесное, что, по видимому, мешает и каждому его духовному порыву»⁷.

В этом же духе характеризуется и Бакунин. «Не имея больших талантов, — пишет Энгельгардт, — он сделал во многих предметах значительные успехи», но «его отпугивает всякое значительное затруднение», и он «изрядно надменен»⁸.

Совсем иной была другая группа лицейцев, для которых жизнь получала смысл только в какой-либо «высокой цели», в политике, творчестве, широких замыслах. При всем первоначальном раздражении Энгельгардта против Пушкина (об их отношениях мы говорили в первой главе этой книги) он отмечает, что юный поэт на творчестве «основывает все и с любовью занимается всем, что с этим связано».

Горячее увлечение какой-либо идеей или делом сочувственно отмечено Энгельгардтом и у других лицейцев. О Вольховском, этой, по словам Пушкина, «спартанской душе», Энгельгардт писал: «Из всех учеников этого надо оберегать меньше всего, так как перед его душой стоит прекрасный идеал (правда, еще в неясных очертаниях), к достижению которого он стремится твердо и настойчиво». Дальше он еще раз говорит о «твердом решении» Вольховского «подготовиться к серьезным жизненным делам», хотя и не раскрывает, какие это дела. Вероятно, Энгельгардт и не знал о политическом умонстроении этого воспитанника и тем более о его связях уже в то время с будущими декабристами, но все же эта характеристика симптоматична. Общественно-политические ин-

тересы лицеистов отмечаются в записях директора с явным одобрением. Эти интересы подчеркиваются как самое положительное и в характеристике Ломоносова. Энгельгардт признает поверхностность его суждений, объясняя это отчасти «юношеским легкомыслием» и тем, что «он раньше воспитывался французами». Но ценными он считает у Ломоносова следующие качества: «Политикой он интересуется очень живо... умеет направить разговор на наиболее высокие интересы человечества... часто думает о том, как он может быть им (людям. — Б. М.) наиболее полезен. От этого он тоже всегда был полон проектов и предположений, направленных обычно на преобразование армий, на установление новых порядков в министерстве, управление финансами и т. п.». Правда, «поверхностность» Ломоносова привела к тому, что этот воспитанник, прозванный за пронырливость «Кротом», быстро остыл к такого рода «проектам» и уже в 1820 году писал в одном из писем: «Представительный образ правления имеет более неудобностей, нежели полагают сочинители конституций, которые вошли в такую моду в Европе»⁹.

Любопытны характеристики ближайших товарищей Пушкина, данные Энгельгардтом в тех же записях. Весьма примечательна характеристика Кюхельбекера: «Читал все на свете книги обо всех на свете вещах; имеет много таланта, много прилежания, много доброй воли, много сердца и много чувства, но, к сожалению, во всем этом не хватает вкуса, такта, грации, меры и ясной цели. Он, однако, верная невинная душа, и упрямство, которое в нем иногда проявляется, есть только донкихотство чести и добродетели с значительной примесью тщеславия. При этом он в большинстве случаев видит все в черном свете, бесится на самого себя, совершенно погружается в меланхолию, угрызения совести и подозрения; и не находит тогда ни в чем утешения, разве только в каком-нибудь гигантском проекте»¹⁰.

Здесь тонко подмечены экспансивность и порывистость «Кюхли», его исключительная жажда знаний, его максимализм, выразившийся в стремлении к «гигантским проектам». «Недостаток вкуса, грации, меры» — это действительные недостатки Кюхельбекера, которые вызвали непрестанные насмешки товарищей над «Вилей» в лицейских журналах и куплетах.

Если судить о Кюхельбекере на основании материалов лицейских журналов, то представление о нем создается одностороннее. Лицейские журналы были полны шуточными стихами и карикатурами, в которых высмеивались странности Кюхельбекера, его долговязая фигура, тяжеловесный стиль его ранних стихов. В шутках над «Кюхелей» принимал участие и Пушкин.

Вильгельм, прочти свои стихи,
Чтоб мне заснуть скорее, —

эта концовка стихотворения «Пирующие студенты» является далеко не самой обидной шуткой Пушкина над «Вилей» (достаточно вспомнить пушкинские эпиграммы «На смерть стихотворца» и «Тошней идиллии и холодней, чем ода»). Но шутки и столкновения забывались, а дружба, общность идейных стремлений крепла.

Говоря о Дельвиге, Энгельгардт подчеркивает, что у него все направлено «на какое-то воинствующее отстаивание красот русской литературы». «В русской литературе он, пожалуй, самый образованный». Эти слова подкрепляются позднейшими воспоминаниями Пушкина о Дельвиге: «Он знал почти наизусть собрание русских стихотворений, изданное Жуковским. С Державиным он не расставался».

В записях Энгельгардта отмечена, кроме пристрастия к русской литературе, и другая черта Дельвига: «В его играх и шутках проявляется определенное ироническое остроумие, которое после нескольких сатирических стихотворений сделало его любимцем товарищей»¹¹. О том, что это остроумие не было политически нейтральным, мы можем догадываться по позднейшей надписи Пушкина к портрету Дельвига:

Се самый Дельвиг тот, что нам всегда твердил
Что козь судьбой ему даны б Нерон и Тит,
То не в Нерона меч, но в Тита сей вознил,
Нерон же без него правдиву смерть узрит.

Нужно учесть, что в начале XIX века Тит, в противоположность Нерону, символизировал образ просвещенного монарха-благотетеля (Титом именовался в официальной литературе Александр I). Поскольку эти слова выражали убеждение Дельвига («всегда твердил»), можно думать, что он отрицательно относился не только к

открыто тираническим, но внешне смягченным формам так называемого «просвещенного» деспотизма.

Характеристика Пушкина в заметках Энгельгардта, к сожалению, очень скупа. Отмечая, что Пушкин был «в сущности хорошим молодым человеком», «вдумчивым, способным», он далее ограничивается указаниями на «несчастливые семейные обстоятельства» и какие-то романтические истории в Лицее. По-видимому, тогда еще Энгельгардт не сблизился с Пушиным, человеком, с которым затем всю жизнь дружил¹².

Много нового дает характеристика Яковлева, с которым Пушкин был в близких отношениях. В отзыве о Яковлеве отмечено, что он «талантлив во всем, особенно же в риторике, мимике и музыке». Это известно и из других источников. Но далее говорится: «У него есть склонность к сатире, но несравненно меньшая, чем у Пушкина. В науках он предался своего рода литературному патриотизму, этот протест против чужого принимает у него значение чего-то важного». Новое узнаем мы и в отзыве о Данзасе (которого Пушкин впоследствии избрал секундантом в дуэли с Дантесом). «В нем довольно много склонности к искусству», — пишет о Данзасе Энгельгардт¹³.

Очень интересна характеристика Илличевского, лицейского поэта, отличавшегося большой плодовитостью и слывшего среди товарищей чуть ли не первым стихотворцем. Пушкин называет его в своих лицейских стихах «любезным остряком», «милым остряком», «живописцем». Илличевскому принадлежат многие эпиграммы на лицейских наставников. Большое место в его творчестве занимала тема тяжелой судьбы поэтов. Встречается сатира на «нравы», высмеивается лицемерие, низкопоклонство перед «власть имущими» и т. д. Однако обличительная тема лишена у Илличевского политической остроты. Стихи его в большинстве слабые, а по идейному содержанию бледные; о них мы можем судить и по лицейским рукописным журналам и по его сборнику «Опыты в антологическом роде» (1827).

В честь Илличевского лицеисты сочинили гимн, где он именовался «бессмертным», «истинным поэтом», рожденным для «славы света». Отзыв Энгельгардта подтверждает, что репутация Илличевского как поэта была раздута. «В Германии был такой сладостный период, —

писал Энгельгардт, — когда многие молодые люди благодаря Геснеровым идиллиям, так же как Вертеру, Иорику, сентиментальным путешествиям и т. п., стали настолько сверхчувствительными, что их бледно-красные сердца по всякому поводу и без повода целиком и полностью таяли. На таких бессильных и сухих юношей, если не совсем, то во многом, к сожалению, походит Илличевский. Несколько самодельных рифм и чрезмерные и неосторожные похвалы, которые воздавались его незрелой музе, сделали свое слишком добросовестно. Фантазия дала теперь форме перевес над всеми его остальными интеллектуальными силами настолько, что он при всех своих талантах стоит во всех серьезных науках, за малым исключением, почти на той же ступени, что и при поступлении». Энгельгардт все же воздает должное тому, что «имеется в его поэтическом багаже», и отмечает: «В русской литературе (то есть по успехам в лицее. — Б. М.) он, если не первый, то очень близок к первому»¹⁴.

Илличевский высоко ценил Пушкина, а Пушкин при окончании Лицея посвятил ему стихотворение, но особенной близости между ними не было.

Сложные взаимоотношения сложились у Пушкина с другим лицейским сверстником — князем Александром Михайловичем Горчаковым. Это был человек весьма выдающийся по своим дарованиям, но совершенно чуждый передовым веяниям эпохи. Будущий министр иностранных дел и канцлер, одержавший крупные победы в области внешней политики, один из крупнейших дипломатических деятелей XIX века, он в то же время по своим политическим взглядам неизменно стоял на консервативных позициях. Еще в лицейские годы в его идеологии проявлялись черты, предвещавшие непримиримого противника всякого освободительного движения как в России, так и в Европе. Впоследствии Горчаков с гордостью вспоминал о том, как в день 14 декабря 1825 года он, сильно напудренный, проехал «сквозь толпу народа и солдат» в карете цугом с форейтором в Зимний дворец для присяги «новому государю императору Николаю Павловичу»¹⁵.

Интересные психологические детали запечатлел в своей характеристике Горчакова Энгельгардт: «Сотканный из тонкой духовной материи, он легко усвоил многое и чувствует себя господином там, куда многие еще с трудом стремятся. Его нетерпение показать учителю, что он

уже все понял, так велико, что он никогда не дожидается конца объяснения. Если в схватывании идей он выказывает себя гениальным, то и во всех его более механических занятиях царят величайший порядок и изящество. Так как он с самого детства был подвержен всяким внешним и внутренним эмоциям, этот пыл подорвал его организм... Теперь его здоровье, по-видимому, совсем восстановилось, хотя его экспансивность несколько не уменьшилась. Так как и теперь, однако, пылкость — его стихия, то кажется, что она уничтожила все более спокойные и добрые свойства его души, и при его остром чувстве собственного достоинства у него проявляется немалое себялюбие, часто в отталкивающей и оскорбительной для его товарищей форме. Чаще всего он вступал в спор с Кюхельбекером. От одних учителей он отделяется вполне учтивыми поклонами, а с другими старается сблизиться, так как у них находит или надеется найти поддержку своему тщеславию. В течение долгого времени он непременно хотел оставить Лицей, так как он думал: в познаниях он больше не может двигаться вперед, а он надеялся блистать у своего дядюшки»¹⁶.

Дядюшка Горчакова, о котором упоминает Энгельгардт, — это сенатор А. Н. Пещуров, оказавший племяннику большую помощь в завоевании чинов и служебного положения. До нас дошли письма Горчакова из Лицея Пещурову, исполненные нижайшей почтительности, честолюбивых надежд и политического консерватизма. Светская мудрость Горчакова хорошо выражена его любимым афоризмом: «Не кажитесь никогда ни более мудрым, ни более ученым, нежели те, с кем вы находитесь» (из Гестерфильда). В письмах он прославляет *«его величество»* и порицает идеи просветительской философии. Руссо Горчаков критикует за то, что «он не заложил основ своего строения там, где бог имеет свой престол», и является более опасным врагом религии, чем Вольтер. Иначе, чем Пушкин, оценивал Горчаков все, что связано с идейным направлением Лицея¹⁷.

Три послания посвятил Пушкин Горчакову, и во всех этих посланиях главной темой является тема разных жизненных путей, разных идеалов и стремлений.

В старом пушкиноведении утверждалось, что противоречия между Пушкиным и Горчаковым — это противоречия между «плохим» и «хорошим учеником». Многие

прояснил в этом вопросе П. Е. Щеголев, однако совершенно неправильным является его утверждение, что у Горчакова с Пушкиным были «хорошие, товарищеские отношения». Взаимный интерес их друг к другу — это интерес не друзей, но антагонистов, которые совершенно по-разному глядели на мир. В литературе последних лет уже отмечалась ошибочность точки зрения Щеголева и указывалось, что из всех лицеистов Горчаков был человек наиболее чуждый, наиболее противоположный Пушкину¹⁸.

Первое из посланий Пушкина к князю Горчакову (1814) начинается с шутливой декларации, отвергающей традиционные отношения между князьями и поэтами:

Пускай, не знаясь с Аполлоном,
Поэт, придворный философ,
Вельможе знатному с поклоном
Подносит оду в двести стрóf;
Но я, любезный Горчаков,
Не просыпаюсь с петухами
И напыщенными стихами,
Набором громозвучных слов,
Я петь пустого не умею
Высоко, тонко и хитро
И в лиру превращать не смею
Мое гусиное перо!

Обычаю «придворных философов» подносить «вельможе знатному» оду полемически противопоставляется послание совсем иного рода:

Нет, нет, любезный князь, не оду
Тебе намерен посвятить;
Что прибыли соваться в воду,
Сначала не спросившись броду,
И вслед Державину парить?
Пишу своим я складом ныне
Кой-как стихи на именины.

Далее поэт останавливается перед вопросом, чего желать «от чиста сердца» другу: «богатства», «громких дней», «крестов», «алмазных звезд», «честей» или же, наконец, военных успехов. Эти перечисления, типичные для поздравительных стихов того времени, перебиваются ироническими строками:

Дай бог любви, чтоб ты свой век
Питомцем нежным Эпикура
Провел меж Вакха и Амура!

Совсем в другом плане — глубоких и серьезных размышлений — написано второе послание Горчакову (1817). Оно носит элегический характер. Тема разграничения двух жизненных путей все же намечена здесь с полной отчетливостью:

С надеждами во цвете юных лет,
Мой милый друг, мы входим в новый свет;
Но там удел назначен нам не равный,
И розно наш оставим в жизни след.

Но с особенной резкостью размежевание двух путей отражено в третьем послании к Горчакову. Оно было написано через два года после второго, когда Пушкин жил в кипучей атмосфере петербургских антиправительственных кружков и объединений. Пушкин — теперь уже политически определившийся поэт, автор «Вольности», «Деревни», политических эпиграмм. Горчаков же тотчас по окончании Лицея «пошел в гору» и быстро продвигался в Коллегии иностранных дел. Дядя Пушкина, Василий Львович, в письме к П. А. Вяземскому от 21 декабря 1819 года писал: «Молодой кн. Горчаков, товарищ племянника моего, получил чин или, лучше сказать, звание камер-юнкера». Для Пушкина (пребывавшего, кстати сказать, в чине чиновника 14-го класса) Горчаков — «питомец мод, большого света друг», человек иного лагеря¹⁹. В своем послании Пушкин поднимается до высокого пафоса социального обличения:

И, признаюсь, мне во сто крат милее
Младых повес счастливая семья,
Где ум кипит, где в мыслях волен я,
.....
Чем вялые, бездушные собранья,
Где ум хранит невольное молчанье,
Где холодом сердца поражены,
.....
Я помню их, детей самолюбивых,
Злых без ума, без гордости спесивых,
И, разглядев тиранов модных зал,
Чуждаюсь их укоров и похвал.

Пушкин в отличие от Горчакова радовался своей отчужденности от «большого света»:

Не вижу я изношенных глупцов,
Святых чевежд, почетных подлецов
И мистики придворного кривлянья.

На предложение Горчакова оставить круг своих друзей для «большого света» Пушкин в свою очередь отвечает предложением:

И ты на миг оставь своих вельмож
И тесный круг друзей моих умножь,
О ты, харит любовник своевольный,
Приятный льстец, язвительный болтун...

Имеется вариант последнего стиха, резче подчеркивающий неискренность Горчакова:

Приятный *лжец*, язвительный болтун... *

Позднее пути двух лицейстов окончательно разошлись. Обращаясь к Горчакову в стихотворении, посвященном лицейской годовщине 1825 года, Пушкин прямо об этом и говорит:

Нам разный путь судьбой назначен строгой;
Ступая в жизнь, мы быстро разошлись.

В этих же стихах содержится явное поэтическое преувеличение той обстановки, в которой происходило свидание Пушкина и Горчакова в Лямонове в сентябре 1825 года («Мы встретились и братски обнялись»). Об этом свидании Пушкин более откровенно писал Вяземскому: «Мы встретились и расстались довольно холодно, по крайней мере с моей стороны». Дальнейшее отношение Горчакова к Пушкину также известно. Горчаков в своих позднейших воспоминаниях пытался представить себя человеком, который своими советами наставлял поэта на «истинный путь». В 1870 году он отказался участвовать в комитете, организованном для сооружения памятника Пушкину.

Вокруг Горчакова, светско-утонченного юноши, хотя и внутренне чуждого Пушкину, но человека интересного и высоко одаренного, группировались лицеисты, которые уже никакого интереса для молодого поэта не представляли. Таков был барон Модест Корф (лицейское прозвище «Дьячок-мордан»), впоследствии крупный деятель правительственной бюрократии, автор реакционной книги о декабризме и клеветнических заметок о Лицее и Пушкине. Таков был Комовский («лисичка», «смола», «фи-

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

скал», — называли его товарищи), закадычный друг Корфа, оставивший после себя лицейский дневник, заполненный ханжескими записями. Между Пушкиным и такими людьми, конечно, не могло быть близости.

Сами лицеисты понимали, что круг их неоднороден. О различных жизненных путях и стремлениях говорится и в произведениях других юных поэтов в рукописных сборниках Лицея. В своих стихах друзья Пушкина высмеивают лицеистов, живущих мелкими обывательскими интересами. Одним из наиболее ярких стихотворений этого рода является «Подражание 1-му псалму» Дельвига с характерным обращением к «слепому глупцу»:

А ты, слепой глупец, иль новый философ!
О верь мне, и в очках повеса все ж повеса.
Что будет из тебя под сединой власов,
Когда устанешь ты скакать средь экосеса?

Скажи, куда уйдешь от скуки и жены,
Жены, которая за всякую морщину
Ее румяных щек бранится на тебя?
Пример достойнейший и дочери и сыну!

Что усладит, скажи, без веры старика?
Что память доброго в прошедшем сохранила!
Что совесть... ты молчишь! беднее червяка,
Тебе постыла жизнь, тебя страшит могила!

Эта безотрадная картина будущей жизни «слепого глупца» высмеивается в целой серии стихов, помещенных в сборниках творчества лицеистов. Сюда же относятся стихи, высмеивающие карьеристские надежды на «чины», как, например, эпиграмма Илличевского:

Гуляй, топ Prince, на что учиться!
От книг беги, как от беды;
Разве должно над книгой биться?
Черт с ней. Сиятельный ведь ты:
Алмазы, денежки имешь,
Как с сим чинов не получать?
Охота ж в Pension езжать?
Ведь ты parler français умеешь! ²⁰

Размежевание лицеистов отражалось и в их отношении к начальству, профессорам и наставникам. Министр просвещения Разумовский служил объектом насмешек в лицейских рукописных журналах. Разумовскому посвящена эпиграмма Пушкина, Горчаков же в письме

своему дядюшке именует министра истинным другом Лицея («наш верный друг граф Разумовский») ²¹. Вслед за Горчаковым Корф утверждал, что лицеисты «любили Разумовского», и в то же время с пренебрежением отзывался о Куницыне. Другой пример: Комовский горячо любил гувернера Чирикова, о котором Пушкин в эпиграмме сказал:

Вот карапузик наш, монах,
Поэт, писец и воин.
Всегда за все, во всех местах
Крапивы он достоин...

Среди лицейских преподавателей встречались люди настолько отвратительные, что ненависть воспитанников к ним была почти единодушной. Такого рода человеком был Фридрих Леопольд Матвеевич фон Гауэншильд. Этому «ужасному педанту» (слова Пушкина в стихотворении 1815 года «Воспоминание») в «Национальных лицейских песнях» посвящен целый куплет:

В лицейской зале тишина,
Диковинка меж нами:
Друзья, к нам лезет сатана
С лакрицей за зубами.
Друзья, сберемтея гурьбой,
Дружнее в руки палку,
Лакрицу сплюснем за щекой,
Дадим австрийцу свалку... ²²

Существовавшие среди лицейстов подозрения, что Гауэншильд был австрийским агентом, полностью подтверждаются опубликованными позднее документами — депешей Меттерниха австрийскому послу в Петербурге и запиской Гауэншильда «Исторический взгляд на Сперанского». Из депеши Меттерниха следует, что Гауэншильд был послан в Россию для получения политической информации. Служба в Лицее, находившемся рядом с резиденцией царя, была для этого более чем подходящей. Вместе с тем Гауэншильд всячески старался подавить свободолобивые тенденции лицейского воспитания и без конца доносил министру просвещения о «непорядках». Любопытно, что Меттерних с проницательностью опытного реакционера отмечает Лицей как один из каналов свободомыслия. Говоря о восстании декабристов, он, между прочим, заявил: «Я потребовал у господина Гауэншильда составления подробной истории Царскосельского

лица. Эта история будет очень интересна. Она даст ключ к пониманию того странного феномена, что, так сказать, собственные дети несчастного Александра I стремились к его гибели и не останавливались даже перед возможностью его убийства»*. По-видимому, из информации Гауэншильда у Меттерниха создалось впечатление, что лицеисты сплошь революционеры²³.

Гауэншильд, помимо своего рептильно-шпионского облика, презирался лицеистами еще и потому, что свою специальность — немецкий язык — он преподавал... на французском языке. Русский язык был настолько ему не знаком, что в Лицее пришлось держать специального секретаря ему в помощь. В «мемориях» конференции Лицея за 1813 год записано о некоем «секретаре Венигеле»: «Члены конференции, иностранцы профессор Гауэншильд и адъютант Ренненкампф, по собственным словам их, весьма облегчены сим канцелярским служителем, который, зная языки, исправно переписывает их голоса и планы, притом объясняет им изустные препоручения и часто, в облегчение секретаря, переводит для них статьи из журналов и предписаний»²⁴.

Несмотря на связи Гауэншильда с влиятельными чиновниками, победа в длительной борьбе с ним Энгельгардта осталась за Энгельгардтом: в конце концов он был уволен.

Но если по отношению к Гауэншильду лицеисты были, в общем, единодушны, то совсем иначе дело обстояло с С. С. Фроловым, отставным подполковником, тупым и невежественным человеком, служившим в Лицее сначала надзирателем, затем инспектором (некоторое время он даже замещал директора). Этому Фролову (его упоминает Пушкин в плане «Записок») лицеисты пели в лицо длинную песню, где, в частности, утверждалось:

Твой друг и барин Аракчеев...

Иначе относился к Фролову Горчаков. В письме к дяде он писал: «Степан Степанович Фролов, подполковник, кавалер орденов св. Анны 2-й степени и св. Владимира 4-й степени, почтенный человек, очень ко мне благосклонный...»²⁵

Настоящий политический бой был дан лицеистами во

* Подлинник по-французски.

главе с Пушкиным надзирателю по нравственной части Мартыну Пилецкому-Урбановичу. В литературе о Пушкине сей воспитатель юношества известен как мистик и ханжа, применявший в Лицее иезуитские методы «наставления на путь истинный». В воспоминаниях современника он обрисован как личность поистине ужасающая — «с своей длинною и высохшею фигурою, с горящим всеми огнями фанатизма глазом, с кошачьими походкою и приемами, наконец с жестко-хладнокровною и ироническою, прикрытой видом отцовской нежности, строгостью»²⁶.

Неизданные материалы архивов добавляют к облику Пилецкого еще одну черту: он был полицейским шпиком в Лицее. Вероятно, этим и объясняется настойчивость, с которой Малиновский добивался увольнения Пилецкого. В секретном донесении министру Малиновский писал, что Пилецкий «не терпим многими наставниками» вследствие «некоторой антипатии, на противоположности правил основанной». Разумовский в конце концов согласился на увольнение. Пилецкого хотели было при этом наградить, но из той же секретной переписки следует, что об этом позаботилось другое ведомство: он был представлен к награде «чином» Министерством полиции²⁷.

Методы, применявшиеся Пилецким, ясны из его письменных инструкций гувернерам. Пилецкий обязывал своих сотрудников «по части нравственной и учебной» усиленно «надзирать» за учениками. Он требовал «наблюдения их лица», требовал предупреждать «ложные мнения», «примечать тайные их разговоры», «читать в каждого глазах и чертах лица (которое недаром названо зеркалом души) их желанья». Цель воспитания, по его убеждению, заключается в том, чтобы «обрабатывать их волю чрез послушание, укрощать и направлять ее»²⁸.

Эти методы вызывали со стороны Пушкина и его друзей яростное сопротивление. В «Журнале о поведении воспитанников» за ноябрь 1812 года гувернер Илья Пилецкий описал «бунт», поднятый лицеистами против его брата, инспектора. Инициатором этого события был Пушкин. «23-го, когда я у г. Дельвига в классе г. Гауэншильда отнимал бранное на г. инспектора сочинение, в то время г. Пушкин с непристойной вспыльчивостью говорит мне громко: «Как вы смеете брать наши бумаги, — стало быть и письма наши из ящика будете брать...»

«Присутствие г. профессора, — продолжает гувернер, — вероятно, удержало его от худшего еще поступка, ибо приметен был гнев его». Описывая возмущение других воспитанников, гувернер особенно отмечает Кюхельбекера, который в этом деле «принял весьма широкое участие, даже с ожесточением», и Ивана Малиновского (сына директора). В другом «Журнале» сам Мартын Пилецкий описывает это же происшествие, где пишет, что Пушкин «упорнее всех», а о Кюхельбекере говорит: «Он произносил не менее бранные слова почти мне в глаза». Этот инцидент был начальством замят, но через несколько месяцев «заговор» вспыхнул с новой силой. Лицейсты собрались в конференц-зале, вызвали инспектора и выдвинули ультиматум: или он, или они должны покинуть Лицей. В тот же день иезуит выехал из Царского Села и вскоре поступил на службу по прямому назначению — следственным приставом петербургской полиции²⁹.

В пушкинской программе «Записок» под 1811 годом значится: «Мы прогоняем Пилецкого». Пушкин, писавший эту программу много лет спустя, ошибся в дате: Пилецкий изгнан из Лицея не в 1811, а в 1813 году. Это изгнание явилось настоящей победой Пушкина и его друзей, возглавивших борьбу со шпиком. Лицей освобождился, таким образом, от своего злейшего внутреннего врага.

2

Лицейсты называли свою школу «Лицейской республикой». Эта краткая, но выразительная формулировка часто встречается в письмах, а также в лицейских рукописных журналах. Нельзя считать неожиданностью, что так именует Лицей будущий декабрист В. Кюхельбекер. В письме к сестре (1814) он описывает период безначалия, наступивший после смерти первого директора, в следующих словах: «В нашей республике царствует некоторый беспорядок, который еще умножается разногласиями наших патрициев». Но так говорили о Лицее не только те, кто были известны своим вольномыслием, а иногда и воспитанники, ничем с этой стороны себя не проявившие. Эту же терминологию употребляет, например, и Н. Корсаков. Его письмо, посланное из Петербурга мо-

сковским товарищам по Лицею — Ломоносову и Горчакову (датировано 19 октября 1817 гда), начинается обращением: «Представителям единой и неделимой Лицейской республики в Москве». Эта терминология прочно установилась среди лицейстов: она встречается в рукописных лицейских журналах не только пушкинского, но и следующих выпусков (до разгрома Лицея). В журнале «Свободные часы» описывается в форме географической статьи «Малый Лицей» — младший курс Лицея (начавшийся в 1814 году и воспринявший терминологию от лицейстов пушкинского выпуска). «Малый Лицей, — говорится в этой статье, — есть совершенный Рим нашей республики, а следовательно, центр наук, художеств, политики и проч.». В статье такого же характера, помещенной в журнале «Сотрудник Мома», указывается, что «внутреннее управление имеет вид республиканский», лицейсты именуются везде гражданами. Борьбу с начальством за установление более свободных порядков лицейсты иносказательно именуют борьбой с «императором», «диктатором», «консулами» и т. д. Кроме этой терминологии, несомненно восходящей к лицейским лекциям о республиканских правлениях древнего и нового мира, в журналах лицейстов встречается терминология и лозунги французской революции (*liberté, égalité* *), упоминается о новгородской вольности, о народных сеймах и т. д.³⁰

Иносказательную манеру лицейских рукописных изданий при всей ее условности нельзя рассматривать как «лицейские шалости». Республиканская терминология не была, разумеется, выражением какой-то сложившейся идеологии; смешно было бы именовать даже самых передовых лицейстов республиканцами. Но все же употребление этой терминологии воспитанниками — факт весьма примечательный. Идея равенства сознательно насаждалась и среди воспитанников и в общении между воспитанниками и профессорами; как уже говорилось, «частные правила», установленные в Лицее, запрещали высокомерное отношение даже к низшим служителям, «хотя бы они были их крепостные люди». Самая формулировка «Лицейская республика» находит аналогию в характерных для той эпохи наименованиях кружков

* Свобода, равенство (франц.).

и содружеств, объединявших людей прогрессивных, по своим взглядам враждебных абсолютизму. Так, петербургское Вольное общество любителей российской словесности негласно именовало себя «ученой республикой». Формулировка «Литературная республика» была в обиходе писателей декабристского и околodeкабристского круга; например, в одном из писем Рыльева Туманскому (1823) Пушкин именовался «Консулом нашей Литературной Республики». В этом духе следует понимать и формулу «Лицейская республика», как выражение общности стремлений³¹.

Политическое обоснование такого рода «республик», объединявших учащихся, писателей, ученых и т. д., содержится в любопытнейшей «Записной книжке для друзей человечества» (издана анонимно без указания года; судя по содержанию, относится к первому десятилетию XIX века). В отрывке «Нечто о вольности», помещенном в этой книге, сказано: «Если бы кто спросил невольника, пленного или галерного, чего он желает? Без сомнения получил бы ответ: вольности... Так говорит подданный тирану или, когда не смеет сего сказать, то вздыхает он более о вольности, нежели гражданин вольной державы. Вследствие сего примечания большее или меньшее желание свободы показывает больший или меньший недостаток оной». Поэтому люди стремятся обрести вольность хотя бы в «вещах, относящихся к *упражнению и роду жизни*». «Из сего,— заключает автор,— происходят разного рода вольности: *университетская*, республиканская, писателей, критиков». Анонимный автор всего лишь сформулировал подоплеку всякого рода вольнолюбивых объединений, кружков, дружеских «союзов», характерных для этого времени. Именно в качестве «вольности», «относящейся к упражнению и роду жизни», возникло наименование Лицея «Лицейской республикой»³².

Повторяем, было бы заблуждением делать из всего сказанного вывод о политическом направлении Царско-сельского лицея в целом. Совершенно особое место в «Лицейской республике» занимал пушкинский кружок. В юношеских стихах Пушкин отражает развитие своих отношений с теми сверстниками, которые были его действительными друзьями.

В стихотворении «Пирующие студенты» (1814) атмосфера пушкинского кружка ощущается с особенной

полнотой. «Пир студентов» изображен как собрание вольнолюбивых друзей:

Главу венками убери,
Будь нашим президентом,
И станут самые цари
Завидовать студентам!

Студенты именуются здесь «спартанцами». В первой редакции стихов имеются строки, противопоставляющие идею лицейского союза богатству и чинам:

Виват наш дружеский союз!
Виват, виват, студенты!
Не надобны питомцу муз
Ни золото, ни ленты...

Отдельные стихи обращены в «Пирующих студентах» к Дельвигу, Илличевскому, Броглио, Яковлеву, Малиновскому, Корсакову, Кюхельбекеру, но с особенной теплотой называется здесь Пущин:

Товарищ милый, друг прямой...

Вообще же наиболее непринужденные, интимные стихи Пушкина-лицеиста адресованы Пущину, Дельвигу, Кюхельбекеру. Кроме двух посланий Пущину 1815 года («Любезный именинник» и «Воспоминание»), имя своего «первого, бесценного друга» Пушкин упоминает с любовью и в других стихах.

В 1817 году, при окончании Лицея, Пушкин написал стихотворение «В альбом Пущину», которое оканчивается клятвенным заверением незыблемости союза «первых друзей» «пред грозным временем, пред грозными судьбами». Пущин в своих воспоминаниях говорил об идейной основе дружбы с Пушкиным: «Он всегда согласен со мною мыслил о деле общем (res publica)...»³³.

В лицейской поэзии Пушкина мотивы героизма сочетались с мотивами наслаждения жизнью, а прославление свободы — с презрением ко всякому ханжеству и рутине. В ней отразилась идеология и психология молодого человека преддекабристской России. В годы учения мировоззрение поэта только еще формировалось, и поэтому этот период явился для него периодом исканий. Но, тем не менее, характерно, что его очень рано стали беспокоить вопросы о предназначении поэта, об опасно-

стях избранного пути и преодолении этих опасностей. Пятнадцатилетним мальчиком, в 1814 году, он пишет стихотворение «К другу стихотворцу», в котором трезво рисует положение писателя в современном ему обществе:

Не так, любезный друг, писатели богаты;
Судьбой им не даны ни мраморны палаты,
Ни чистым золотом набиты сундуки.
Лачужка под землей, высоки чердаки —
Вот пышны их дворцы, великолепны залы.
Поэтов — хвалят все, питают — лишь журналы;
Катится мимо их Фортуны колесо;
Родился наг и наг ступает в гроб Руссо;
Камознс с нищими постелю разделяет;
Костров на чердаке безвестно умирает,
Руками чуждыми могиле предан он.
Их жизнь — ряд горестей, гремяща слава — сон.

Через год в стихотворении «Лицинию» Пушкин осознает высокую роль поэта как обличителя:

Свой дух воспламеню Петроном, Ювеналом,
В гремящей сатире порок изображу
И нравы сих веков потомству обнажу.

Тема о значении поэта и его судьбе в потомстве волновала Пушкина всю жизнь. Ею он начал и ею кончил свою творческую деятельность; в лицейском стихотворении 1815 года он восклицал:

Мои летучие посланья
В потомстве будут ли цвести?

А незадолго до смерти, как бы подводя итог своей жизни, писал, что к нему «не зарастет народная тропа». В том же стихотворении он ставил себе как поэту в заслугу верность свободе — тому идеалу, который впервые он воспел в годы отрочества.

Мотивы верности «союзу друзей» и высокого призвания поэта звучат как своеобразная поэтическая переключка Пушкина, Дельвига, Кюхельбекера. В 1815 году Дельвиг напечатал в журнале «Российский музеум» стихотворение, заключающее в себе своего рода характеристику Пушкина. Здесь воплощен высокий образ независимого поэта; он «и в юности» «видит священную истину и порок, исподлобья взирающий». Образ поэта явился вместе с тем и образом гражданина: тот, кто осенен «миртом и лаврами» в «конгрессах не мудр-

ствует» («конгресс» — это, конечно, заседавший в это время реакционный Венский конгресс), он презирает купленное кровью тяжкое золото. Заканчивается стихотворение восторженными строками:

Пушкин! Он и в лесах не укроется:
Лира выдаст его громким лением,
И от смертных восхитит бессмертного
Аполлон на Олимп торжествующий.

Это стихотворение вызвало шуточный ответ Пушкина (стихотворение «К Дельвигу», 1815), который был, по видимому, смущен столь торжественным панегириком его дарованию. Однако стихотворение Дельвига впервые прославляло имя Пушкина за пределами Лицея (до этого времени Пушкин напечатал за своей подписью только «Воспоминания в Царском Селе»; все остальное он печатал анонимно).

Незадолго до окончания Лицея Пушкин написал другое послание Дельвигу («Блажен, кто с юных лет...»). Здесь поэт под впечатлением каких-то тяжелых переживаний писал:

Так рано зависти увидеть зрак кровавый
И низкой клеветы во мгле сокрытый яд.
Нет, нет! Ни счастьем, ни славой
Не буду ослеплен. Пускай они манят
На край погибели любимцев обольщенных.
Исчез священный жар!

В ответном стихотворении «К А. С. Пушкину» Дельвиг осуждает минутную слабость своего друга и напоминает о великом призвании:

Как? житель гордых Альп, над бурями парящий,
Кто кроет солнца лик развернутым крылом,
Услыша под скалой ехидны свист шипящий,
Раздвинул когти врозь и оставляет гром?
Нет, Пушкин, рок певцов бессмертье, не забвенье...

Еще с большей энергией и политической остротой, чем у Дельвига, звучит тема поэта у Кюхельбекера, в произведениях которого поэт воспевается как героический борец с несправедливостью и злом мира. Образ поэта, воплощенный в поэзии Кюхельбекера, противопоставлен официальному «светскому» обществу, толпе льстецов и продажных рабов, жаждущих власти и богатства,

презирающих возвышенные чувства. Этот образ персонафицирован Кюхельбекером в стихотворении «К Пушкину», написанном после окончания Лицея:

Счастлив, о Пушкин, кому высокую душу Природа,
Щедрая Матерь, дала верного друга — мечту,
Пламенный ум и не сердце холодной толпы! Он всесилен
В мире своем; он творец! что ему низких рабов,
Мелких, ничтожных судей, один на другого похожих, —
Что ему их приговор. Счастлив, о милый певец,
Даже бессильною Завистью Злобы — высокий любимец,
Избранник мощных судеб! огненной мыслию он
В светлое небо летит, всевидящим взором читает
И на челе и в очах тихую тайну души.
.....
Так, от дыханья толпы все небесное вянет, но Гений
Девствен могушей душой, в чистом мечтании дитя!
Сердцем выше земли, быть в радостях ей непричастным
Он себе самому клятву священную дал!

Эти же мотивы в дальнейшем станут ведущими в творчестве Кюхельбекера и пройдут через все его поэтическое творчество, включая годы тюремного заключения и ссылки.

Стихотворение Кюхельбекера «Моим царскосельским друзьям», написанное при окончании Лицея, представляет собою горячее заверение в незыблемости дружбы и призыв к «твердости»:

Мы никому, друзья, не подвластны душою...

Среди стихотворений Пушкина, так или иначе связанных с именем Кюхельбекера, выделяется послание к нему 1817 года («В последний раз, в сени уединенья...»)

И необычно серьезный, даже торжественный тон послания, и клятвенное обещание, и особая символика — «святое братство» — все это явилось выражением каких-то новых черточек в отношениях Пушкина к Кюхельбекеру. Образ Вили озарился для Пушкина как бы новым светом. Одной из причин этого было, конечно, участие Кюхельбекера в так называемой «артели Бурцова», политическом и вольнолюбивом кружке, в который входили несколько будущих декабристов и о котором Пушкин вспоминал: «Еще в лицейском мундире я был частым гостем артели, которую тогда составляли Муравьевы (Александр и Михаил), Бурцов, Павел Колошин и Семенов... Постоянные наши беседы о предметах

общественных, о зле существующего у нас порядка вещей и о возможности изменения, желаемого многими втайне, необыкновенно сблизил меня с этим мыслящим кружком: я сдружился с ним, почти жил в нем». Ю. Н. Тынянов дополнил (на основании дневника Кюхельбекера) наши сведения об этом кружке именами трех лицейстов — Кюхельбекера, Вольховского, Дельвига, но оставил открытым вопрос о Пушкине. Автор исследования «Священная артель», М. В. Нечкина, предполагает, что Пушкин бывал в этой «артели». Если сопоставить послание Пушкина «Кюхельбекеру» с дошедшими до нас сведениями о кружке Бурцова, то знакомство Пушкина с деятельностью этого кружка становится очевидно³⁴.

Возможно, что поэт вместе с лицейскими друзьями бывал там. Но во всяком случае он знал о направлении этого кружка и беседах, которые там велись. Клятва Пушкина в верности, свободе, дружбе «святому братству» — все это близко ритуалу и словарю «артели». Эту терминологию мы находим в документе, озаглавленном «Постоянство» (он был послан членами бурцовского кружка Николаю Муравьеву, уехавшему на Кавказ):

«Почтенный друг и товарищ! Дружба, постоянство и правота, сущность и основание артели, коея еси член, понудили нас, твоих братьев, лист сей к тебе послать... Да будет он тебе воспоминанием *святого братства* и верным залогом дружбы нашей!.. Бог да благословит тебя, честная душа, и любовь к отечеству да руководствует тобою, а воспоминание о неразрывной артели да усладит тебя во всех твоих трудах и начинаниях!»³⁵

Послания Пушкина Кюхельбекеру и Пушкину перед окончанием Лицея написаны совершенно в духе этого письма «священной артели» Бурцова: и здесь и у Пушкина — клятвы в верности, дружбе и в неизменности высоким идеям, призывы к постоянству заключенного «союза», «святого братства», которое остается неразрывным даже при разлуке его членов.

Кружок Бурцова был далеко не единственным каналом, по которому извне в Лицей проникали свободолобивые идеи. О положительном влиянии, которое в этом смысле оказывали на лицейстов лекции ряда профессоров, мы уже говорили в предыдущих главах. Кроме того, это учебное заведение посещали люди, которые впоследствии стали известными как выдающиеся деятели револю-

ционного движения. Даже весьма скудные данные лицейского архива представляют в этом отношении исключительный интерес. Так, мы узнаем, что в 1815 году среди посетителей Лицея был «адъютант Пестель», который тогда был адъютантом Витгенштейна. Отмечены в лицейских ведомостях посещения «полковника Глинки», то есть Федора Глинки, члена «Союза спасения» и «Союза благоденствия». С Глинкой был тесно связан Кюхельбекер: он получал книги и от него непосредственно и через свою сестру Юстину Карловну (жену Г. А. Глинки), которая часто приезжала в Лицей. Учитывая пропагандистскую деятельность, которую развивал в те годы Федор Глинка, следует признать его одним из проводников вольномыслия в лицейскую среду. Любопытно, что в Лицее бывали родственники декабристов Муравьевых-Апостолов, Лунина, Якубовича. Отметим также, что в 1812 году Лицей посетили князья Ипсиланти: Александр Ипсиланти, который впоследствии стал вождем тайного греческого общества с целью освобождения Греции (его Пушкин близко знал в Кишиневе), и его брат Дмитрий, адъютант генерала Н. Н. Раевского-старшего³⁶.

Большое значение имело для Пушкина знакомство с офицерами лейб-гусарского полка, расположенного в Царском Селе. Пушкин часто посещал офицеров этого полка, их сборища и вечеринки, где царствовал дух вольнодумства, гусарского удалства, презрения к светской черни, которая

...не ведает, что дружно можно жить
с Киферой, с портиком, и с книгой, и с бокалом;
Что ум высокий можно скрыть
Безумной шалости под легким покрывалом.

(«К Каверину», 1817)

В надписи «К портрету Каверина» Пушкин с обычной точностью дал характеристику этого своего приятеля, отважного участника Отечественной войны:

В нем пунша и войны кипит всегдашний жар,
На Марсовых полях он грозный был воитель,
Друзьям он верный друг, красавицам мучитель.
И всюду он гусар.

Из друзей офицеров для Пушкина самым дорогим был П. Я. Чаадаев. Вольнолюбие и одаренность Чаадаева Пушкин высоко ценил («Он в Риме был бы

Брут, в Афинах Периклес...»). Поэт надолго запомнил дружбу с лейб-гусарами в то время, когда

...с Кавериним гулял,
Бранил Россию с Молоствовым,
С моим Чадаевым читал...

(«К Сабурову»)

Об общении лицеистов с внешним миром говорилось в полицейском доносе, поданном на Лицей («Нечто о лицейском духе»), где утверждалось: «В Царском Селе стоял гусарский полк, там живало летом множество семейств, приезжало множество гостей из столицы, — и молодые люди постепенно начали получать идеи либеральные, которые кружили в свете. Должно заметить, что тогда было в моде посещать молодых людей в Лицее; они даже потихоньку (то есть без позволения, но явно) ходили на вечеринки в дома, уезжали в Петербург, куликали с офицерами и посещали многих людей в Петербурге, игравших значительные роли... В Лицее начали читать все запрещенные книги, там находился архив всех рукописей, ходивших тайно по рукам, и, наконец, пришло к тому, что если надлежало отыскать что-либо запрещенное, то прямо относились в Лицей». «Посещение молодых людей в Лицее» лицами, которых доносчик не называл, — это, без сомнения, Ф. Глинка, Пестель, а позже И. И. Пущин, который, окончив Лицей, стал частым гостем этого заведения. «Запрещенные книги и рукописи» в действительности поступали в Лицей также и от офицеров гусарского полка. Недаром, когда в 1828 году Пушкин пытался отречься от написания «Гавриилиады», он показал на допросе по делу об этой поэме: «...в первый раз видел я «Гавриилиаду» в Лицее... рукопись ходила между офицерами гусарского полку, от кого из них именно я достал оную, я никак не упомяну». В Лицее Пушкин свободно мог знакомиться с русской и французской революционной литературой и с произведениями так называемой «рукописной словесности»³⁷.

Все это объясняет взволнованность воспоминаний Пушкина о лицейских годах, его преданность лицейскому «святому братству», которая отражена в стихах не только юношеских, но и позднейших лет. Под влиянием окружающей среды, жизненных впечатлений, ли-

цейского воспитания происходило формирование мировоззрения юноши-поэта, выработывалась система понятий, нашедших свое развитие во всем его творчестве.

Дальнейший путь Пушкина не был прямым: он был исполнен противоречий, отражавших всю сложность, все социальные противоречия эпохи. Но это был путь поэта-гражданина, для которого интересы процветания родины, развития национальной культуры, просвещения народа были первенствующими и который с первых же шагов своей творческой деятельности не мог примириться с современным укладом. Правда, непосредственно политические мотивы лирики Пушкина в общем потоке его лицейского творчества не занимают ведущего места: под влиянием поэзии Жуковского и Батюшкова он разрабатывал тогда главным образом мотивы мечтательного уединения, беспечных любовных наслаждений, мягкой грусти и т. п. Поэтические отклики на события 1812 года (о них см. ниже), стихотворение «Лицинию», несколько эпиграмм — этим ограничен круг собственно политических мотивов в обширном лицейском творчестве Пушкина. Свободолюбие поэта выражалось в то время преимущественно в форме самого общего противопоставления «правды» — «неправде», «благородства» — продажности и лицемерию круга «друзей», чуждых «этикету», презирающих суету «столиц, забот и грома» — кругу вельмож и прислуживающих им «высоко, тонко и хитро» придворных философов. Однако верность избранному пути, непреклонность в достижении цели, высоко развитое чувство личной независимости и собственного достоинства, ненависть к деспотизму, презрение к великосветской знати и ее низменным идеалам — все это нашло выражение уже в ранних произведениях Пушкина.

Недаром через весь творческий путь поэта проходят мотивы, тесно связанные с лицейским периодом его жизни. Подчас бывает даже невозможно понять конкретное идейно-политическое содержание некоторых из этих мотивов, без того чтобы не обратиться к терминологии, бытовавшей в «Лицейской республике». «Республиканская» терминология имеет глубокие корни в укладе Лицея и в той политической борьбе, которая предшествовала самому возникновению этого учебного заведения, а затем развернулась внутри него.

В 1824 году Кюхельбекер вспоминал о разговорах, «полных чувства и мечтания», когда сердца «сливались в выражениях, понятных только в кругу нашем, в милом семействе друзей и братьев». Лицейской терминологией пользовался и Пушкин в стихах, адресованных сверстникам. Выше мы показали, какое значение имели мотивы «лицейского союза», «святого братства», «общей пользы», «общего блага» и т. д. Но в этом свете по-новому раскрывается и такой, например, важнейший мотив, проходящий через всю пушкинскую лирику, как мотив гордости. На нем стоит остановиться³⁸.

Понятие «гордости» в Лицее было равнозначно понятиям идейной независимости, непреклонности убеждений, верности однажды избранному пути. В таком духе разъяснял понятие «гордости» Куницын на уроках нравственности, отвергая в то же время «гордость» в смысле спеси, зазнайства, высокомерия, презрения знатными незнатных. В этом же духе писал о «гордости» Малиновский. В лекциях Георгиевского о «великих характерах» понятие гордости связывалось с героической самоотверженностью в борьбе за «благо общее и отечество». У «великого характера», говорил он, «любовь к славе и *благородная гордость* носят на себе печать особенности». «Его честолюбие никогда не перерождается в жадность, любовь к славе — в детское тщеславие, *благородная гордость* — в высокомерие. Существовая только для великих и вечных благ человечества, совершенно теряя из виду свое ничтожное «я», со всею свободою погружаясь в бессмертные понятия, единственно в них полагает он свое честолюбие, свою славу и свое величие». В качестве примера в лекциях говорилось «о непреклонности *гордого* духа Катона», который покончил с собой, не желая пережить падение республики³⁹.

В «Прощальной песне воспитанников Царскосельского лицея», написанной Дельвигом, был сформулирован обет лицейского союза:

...Храните, о друзья, храните
Ту ж дружбу с тою же душой,
То ж к славе сильное стремленье,
То ж правде — да, неправде — нет,
В несчастья — *гордое терпенье* *,
И в счастья — всем равно привет!⁴⁰

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

Эта формула позже была использована Пушкиным в послании в Сибирь (1827):

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье...

«Гордое терпенье» здесь — уверенность в своей правоте и в конечной победе правого дела:

Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

Пушкин говорил в данном случае с декабристами, находившимися на каторге (и в числе них с лицейскими друзьями), знакомым языком, где слова вызывали ряд ассоциаций, были точно сигналами. Ответ декабристов Пушкину (написанный Александром Одоевским) как бы подтверждал, что сигналы эти приняты и поняты:

Но будь спокоен, бард: цепями,
Своей судьбой *гордимся* мы...

В тяжелейшие годы жизни, во второй половине 20-х годов, когда цепь цензурно-полицейского контроля замкнулась вокруг Пушкина, он вновь и вновь возвращался к этому мотиву. Трагическое стихотворение «Предчувствие» (1828) ставит вопрос о двух путях человеческой жизни — смирении или гордой борьбе с «роком»:

Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне...
Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?

Эти строки писались в связи с политическим следствием о распространении стихов из «Андрея Шенье» и о «Гавриилиаде», когда Пушкину грозила новая ссылка или, быть может, заточение. Вот почему в заключительной строфе «Предчувствия» он вспоминает

Силу, *гордость*, упованье
И отвагу юных дней *.

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

Конечно, Пушкин и его друзья проделали громадный путь от раннего, расплывчатого свободолюбия к тем идеалам, которые они отстаивали в зрелые годы. Надо было отрешиться от многих иллюзий лицейских лет, чтобы символы «гордого терпенья», стремления «к славе», борьбы «за правду» наполнились содержанием реальной действительности. Но вместе с тем именно в лицейские годы были заложены основы того свободолюбия, которое с такой силой проявилось затем у Пушкина и его ближайших друзей. Уже в Лицее складывался новый общественно-политический идеал Пушкина и его эстетический идеал, который являлся художественным, образным выражением нового отношения к жизни, нового враждебного феодально-крепостнической формации, политического мышления*.

-

* Подробнее об этом см. в разделе «Новый эстетический идеал».



Глава четвертая

РАЗГРОМ ЛИЦЕЯ. «ЛИЦЕЙСКИЕ ГОДОВЩИНЫ»

1

Лицей получил славу одного из центров вольномыслия прежде всего благодаря Пушкину: именно его творчество рассматривалось реакционными кругами как «плоды лицейского воспитания». Пушкин справедливо заметил: Пушкин стоял «во главе литературного движения, сначала в стенах Лицея, потом и вне его...». «Литературное движение» Пушкин понимал политически: он писал о Пушкине, что он «по-своему проповедовал в нашем смысле — и изустно и письменно, стихами и прозой». Поэтому разгром системы лицейского воспитания и высылка Пушкина из Петербурга в 1820 году оказались фактами, взаимно связанными¹.

Политические стихи и эпиграммы, написанные Пушкиным вскоре после окончания Лицея — «Вольность», «Сказки (Noël)», «К Чаадаеву» и другие — невольно связывались в сознании современников с так называемым «лицейским духом». Мнение о «пылкости», «вольнодумстве» лицейских воспитанников стало распространенным. О «пылких учениках Лицея» говорил генерал П. Д. Киселев в письме к М. Ф. Орлову. Реакционные круги обращают внимание на то, что бывшие воспитанники Лицея группируются вокруг видных «либералистов». В Журнальное общество, организованное для издания журнала с целью пропаганды освободительных

идей, Н. Тургенев привлек (как уже упоминалось выше), наряду с профессором Куницыным, бывших лицейстов — Пушкина, Пущина, Кюхельбекера. Издание журнала не состоялось, но общество обратило на себя внимание властей. А. Х. Бенкендорф, будущий шеф жандармов, а тогда начальник штаба гвардейского корпуса, доносил Александру I в мае 1821 года, что Тургеневу и Куницыну выразил желание помогать Кюхельбекер — «молодой человек с пылкой головой, воспитанный в Лицее». Нашлись люди, которые поставили деятельность юных «либералистов» в прямую связь с «вредоносным» лицейским направлением. Особенно активно утверждал это один из публицистов александровского времени — В. Н. Каразин. Опубликованные в последнее время документы позволяют установить связь между высылкой Пушкина и последовавшими в Лицее событиями. Еще в ноябре 1819 года Каразин записал в своем дневнике: «Какой-то мальчишка Пушкин, питомец лицейский, в благодарность написал презельную оду, где доставалось фамилии Романовых вообще, а государь Александр назван кочующим деспотом». Здесь же Каразин отмечает «обычай Лицея злословить государя, называть его д[ураком] и т. д. и что между воспитанниками положено жесточайше наказывать того, кто выдаст этот образ мыслей». С возмущением писал Каразин о том, что в Лицее воспитываются «лютейшие враги» государя и «всех благомыслящих»: «Сии воспитанники — суть первые рекруты поганой армии вольнодумцев». А 2 апреля 1820 года Каразин писал, сообщая министру внутренних дел Кочубею:

«В самом лицее Царскосельском государь воспитывает себе и отечеству недоброжелателей... Это доказывают почти все вышедшие оттуда. Говорят, что один из них — Пушкин — по высочайшему повелению секретно наказан. Но из воспитанников более или менее есть почти всякий Пушкин, и все они связаны каким-то подозрительным союзом, похожим на масонство, некоторые же и в действительные ложи поступили». Далее — примечание Каразина: «Кто сочинители карикатур или эпиграмм, каковые направлены *на двуглавого орла, на Стурдзу*, в котором высочайшее лицо названо весьма непристойно, и пр. Это лицейские питомцы! Кто знакомится с публикою соблазнительными стихотворениями в

летах, где честность и скромность наиболее приличны... они же!»²

Вскоре после всех этих доносов Каразина, в мае 1820 года, Пушкин был выслан из Петербурга. И в это же время начинается усиленный надзор за Лицеем.

31 июля 1820 года министр духовных дел и народного просвещения князь Голицын направляет в Лицей строжайшее предписание «о наблюдении с особенной точностью порядка, благонравия и повиновения между воспитанниками» и об исключении всех, кто окажется «худой нравственности». Министр требовал неотступно следить за поведением лицеистов и усилить преподавание «закона божия», без которого «все науки не только нисколько не полезны, но даже вредны». Это предписание Голицын составил, по его словам, «исполняя сим монаршее повеление». Через несколько дней, 5 августа, тот же Голицын в секретном отношении к «законоучителю» Лицея Кочетову обязывает его взять в свои руки образование «нравственности» воспитанников, «доносить» в министерство свои «замечания». В то же время Голицын составил докладную записку о состоянии Лицея для Александра I, где указывает на «вреднейшие беспорядки... по части учебной и нравственной» и на недопустимость преподавания естественного права». Явно имея в виду Пушкина, Голицын отмечал у «некоторых выпущенных воспитанников недостаток доброй нравственности». В том же архивном деле находится оправдательная записка Энгельгардта, отвергающая обвинения Голицына и (как мы уже упоминали выше) оправдывающая Пушкина «пылкостью молодого таланта». В приложенном списке окончивших Лицей Пушкин значится не как сосланный, а как состоящий на службе «при генерале Инзове»³.

В 1822 году Лицей переходит из ведомства Министерства просвещения в Управление военно-учебных заведений, а в следующем году директором его назначается генерал-майор Гольтгоер*. Указом Александра I Лицей подчиняется цесаревичу Константину. Происходит полный разгром прежде существовавшей лицейской системы воспитания и образования. Программы занятий пересматриваются самым строжайшим образом. Из

* О нем см. стр. 47.

политических наук изгоняются даже отзвуки «вольнодумческих» идей. В преподавании законодательства слово «гражданин» заменяется словом «лицо». Происходит ревизия знаменитой лицейской библиотеки, откуда изымаются не только сочинения Вольтера и Руссо, но даже безобидная беллетристика. Разгром Лицея вызвал сильный общественный резонанс, и Грибоедов в своем «Горе от ума» устами Скалозуба совершенно точно отражает сложившуюся ситуацию:

Я вас обрадую, всеобщая молва,
Что есть проект насчет лицеев, школ, гимназий,
Там будут лишь учить по-нашему: раз, два
А книги сохранят так: для больших оказий.

Угроза «фельдфебеля в Вольтеры дать» полностью осуществилась.

Последовавшее через три года после всего этого подавление декабрьского восстания вызвало новый поход против системы пушкинского Лицея. Иезуиты наводнили иностранные газеты статьями, в которых объявили Лицей одним из источников декабристского вольномыслия. После ареста восьми бывших воспитанников Лицея (из которых были осуждены только двое) в Петербурге распространились слухи о том, что большинство участников тайных обществ лицеисты. Мерзкий доносчик Фаддей Булгарин, всего лишь несколько лет назад печатавший на страницах «Сына отечества» сочувственные заметки о Лицее и статьи Куницына, написал донос «Нечто о Царскосельском лицее и духе оногo», где, не считаясь с истиной, объявлял почти *всех* лицейстов сторонниками «конституций», врагами правительства.

В манифесте Николая I, 13 июля 1826 года, в связи с приговором декабристам, обращалось внимание также на «нравственное воспитание детей». В плохом воспитании усматривал царь «сие своеволие мыслей, источник буйных страстей, сию пагубную роскошь полупознаний, сей порыв в мечтательные крайности, коих начало есть порча нравов, а конец — погибель».

Далее последовали «меры» и по отношению, казалось бы, уже «усмиренного» Лицея. Новой реорганизацией его занялся назначенный 14 декабря 1826 года начальником военно-учебных заведений генерал-адъютант Н. И. Демидов, изувер, по тупости и жестокости конку-

рировавший с Аракчеевым Он в короткий срок превратил Лицей в настоящую тюрьму. Демидов лично инструктировал преподавателей и гувернеров и дошел до того, что запретил воспитанникам даже чтение... библии. Первейшим его требованием была тщательнейшая слежка за воспитанниками. Нередко он сам подвергал цензуре письма, которые они писали родителям. В специальной инструкции Демидов выработал, так сказать, типовое содержание писем, дозволенных лицеистам: они должны писать письма «поздравительные с высокочужественными или семейными праздниками; а также извещали бы о счастливейших событиях, по беспредельной милости государя к ним или к товарищам их оказываемых». В Военно-историческом архиве сохранилась официальная секретная переписка с расследованием «либерального образа мыслей» некоторых воспитанников и с инструкциями «о недопущении вольнодумного настроения». Директору Лицея предписывалось собрать сведения, кто из лицейских профессоров и воспитанников участвовал в тайных обществах. При этом указано, что не только участие в тайных обществах, но и разговоры с членами этих обществ — государственное преступление⁴.

«Новый порядок» в Лицее носил тюремный характер даже в быту. Так, лицеистам запрещалось «высовываться в форточки на улицу», и даже в своих комнатах они не имели права расстегнуть мундиры, «ибо на основании высочайшей воли им позволено только расстегивать воротники, и то во время стола и в классах»⁵.

Нашелся ли человек, который в кровавые декабрьские дни, в обстановке оголтелой реакции, поднял голос в защиту лицейской системы воспитания? Да, такой человек нашелся. Это был Пушкин, сам еле уцелевший от декабрьской катастрофы и только что амнистированный Николаем I в надежде, что поэт «исправится» и что его перо может быть «полезным».

По поручению Николая, Пушкин написал в 1826 году записку «О народном воспитании». Следует подчеркнуть обстоятельство, имеющее важное значение: ее поручили писать *бывшему лицеисту*, воспитаннику заведения, которое повсюду объявлялось одним из источников декабристского вольномыслия и которое в это время уже стало аракчеевской казармой. Николай, конечно, менее

всего ожидал советов по вопросу о «народном воспитании» от Пушкина: записка была только лишь поводом для политического экзамена человеку, служившему до этого времени самым ярким примером лицейского вольнодумства (кстати говоря, так и был назван Пушкин в болгаринском доносе на Лицей, на котором есть пометка: «Единственно для высочайшего сведения»). Бенкендорф, передавая Пушкину поручение царя составить записку, писал: «...предмет сей должен представить вам тем обширнейший круг, что на опыте видели совершенно все пагубные последствия ложной системы воспитания»⁶.

В литературе о Пушкине правильно отмечалось, что поэт был вынужден избрать в записке «О народном воспитании» вполне благонамеренный тон — результат условий, в которых она писалась. Несомненно также, что здесь отразились те кратковременные иллюзии о возможности «постепенных улучшений», которые Николай I внушил Пушкину своей лицемерной тактикой и лживыми обещаниями. Пушкин надеялся тогда, говоря словами этой же записки, «соединиться с правительством в великом подвиге улучшения государственных постановлений».

Однако если рассматривать Записку в соотношении с принципами Лицея, в котором учился Пушкин, то станет ясным его стремление защитить основы педагогической системы, выработанной там. Домашнее воспитание Пушкин порицал за то, что «ребенок окружен одними холопами, видит одни гнусные примеры, своевольничает или рабствует, не получает никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести». В этих словах чувствуются отзвуки высказываний Малиновского и Куницына, которые, как мы видели, отмечали растлевающее влияние рабства и выдвигали на первый план науку «о взаимных отношениях людей». В том же духе выдержаны замечания Пушкина, направленные против военизации образовательных учреждений (юношеству нужно «созреть в тишине учения, а не в шумной праздности казарм»), против телесных наказаний и «жестокости воспитания», которое делает из воспитанников «палачей, а не начальников».

Все эти утверждения Пушкина фактически оказались направленными против военно-полицейской реорганизации Лицея, проводившейся в это время главным начальником кадетских корпусов генералом Демидовым.

В свете этого особый смысл приобретают слова Пушкина о том, что «кадетские корпуса, рассадник офицеров русской армии, требуют физического преобразования, большого присмотра за нравами, кои находятся в самом гнусном запущении».

Но особенно крамольной была защита Пушкиным системы идейно-гуманитарного воспитания, которую он испытал на себе. Программы занятий «в гимназиях, лицеях и пансионах при университете» представлялись Пушкину в таком же виде, как и в Лицее прежних лет. «Предметы учения в первые годы не требуют значительной перемены», — писал он, возражая лишь против того, что «языки слишком много занимают времени». Само содержание и методика преподавания политических наук, на которых настаивал Пушкин, полностью отвечает лицейской педагогике первого шестилетия. «Высшие политические науки, — писал он, — займут окончательные годы. Преподавание прав, политическая экономия по новейшей системе Сея и Сисмонди, статистика, история». Особенное внимание обращает Пушкин на историю: «История в первые годы учения должна быть голым хронологическим рассказом происшествий, безо всяких нравственных или политических рассуждений». Здесь Пушкин возражает против реакционной тенденциозности преподавания и против обычного в то время опорочения прогрессивных политических систем. «К чему давать младенствующим умам направление одностороннее, всегда непрочное?» — продолжает он. В окончательном курсе «преподавания истории» должны даваться оценки тех или иных систем, но и здесь не следует, в частности, порочить республиканские образы правления: «Можно будет с хладнокровием показать разницу духа народов, источника нужд и требований государственных; не хитрить; не искажать республиканских рассуждений, не позорить убийства Кесаря, превознесенного 2000 лет, но представить Брута защитником и мстителем коренных постановлений отечества, а Кесаря честолюбивым возмутителем». «Вообще, — заключает Пушкин, — не должно, чтоб республиканские идеи изумили воспитанников при вступлении в свет и имели для них прелесть новизны». Исследователь записки «О народном воспитании», А. Г. Цейтлин, комментируя это место, пишет: «Для Николая совершенно непонятно было, зачем

Кесаря, законного монарха, как-никак представлявшего в древнем Риме неограниченную власть, необходимо представить «честолюбивым возмутителем», а воспетого декабристами Брута «представлять защитником и мстителем коренных постановлений отечества»⁷.

Достаточно сравнить отчет конференции Лицея о первых шести годах обучения, то есть о периоде, когда учился Пушкин, с положениями его записки, чтобы увидеть, что он защищал характерные для своего времени установки преподавания в Лицее. В пушкинском Лицее изучение истории начиналось с хронологического изложения происшествий, а затем давалась «картина благоустройства гражданских обществ», причем «конференция поставляла в необходимую обязанность преподающему предлагать истины исторические со всею точностью и со всяким беспристрастием, достойным историка». Конечно, на деле «беспристрастия» не было и не могло быть, но само требование это было направлено (в условиях того времени) против реакционной педагогики, насаждавшей преклонение перед самодержавием в его самой деспотической форме. Что же касается требований Пушкина «не искажать республиканских рассуждений», «не позорить убийства Кесаря» и оправдать Брута, то в лицейских лекциях, как мы видели, проводились именно эти тенденции.

Несмотря на внешне благонамеренный тон записки, все же она была актом исключительной смелости. По поводу своей записки Пушкин сказал приятелю — А. Н. Вульфу: «Мне было бы легко написать то, чего хотели: но не надобно пропускать такого случая, чтобы сделать добро»⁸.

«Добра», однако, не вышло. На записке «О народном воспитании» появилось более сорока возмущенных вопросительных и восклицательных знаков, поставленных рукой императора*, а Бенкендорф передал Пушкину следующие его слова: «Принятое вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительно основанием совершенству, есть правило, опасное для об-

* Возле утверждения о том, что «дух народов — источник нужд и требований государственных», Николай поставил пять вопросительных знаков.

шего спокойствия, завлекшее вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей». Пушкину, следовательно, опять напоминалось, что он и его друзья — декабристы — жертвы предложенной в записке системы воспитания. А далее следовало назидание: «Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному»⁹.

Смысл той системы просвещения, о которой писал Пушкин в своей записке, был разгадан. Николай I вводил в учебных заведениях, и в том числе в Лицее, как раз ту систему «жестокое воспитания», против которой возражал Пушкин. Любопытное совпадение: русский царь полностью сошелся с точкой зрения мракобеса Жозефа де Местра, в свое время критиковавшего принципы лицейского воспитания с тех же позиций борьбы против малейших проявлений свободомыслия. Пушкинская же записка «О народном воспитании», в которой звучал голос убежденного сторонника лучших традиций Лицея, вызвала лишь жандармский окрик.

2

Находясь в михайловской ссылке, Пушкин набросал в черновой рукописи послания Пушкину элегические строки:

Скажи, куда девались годы,
Дни упований и свободы —
Скажи, что наши? что друзья?
Где ж эти липовые своды,
Где ж молодость? Где ты? Где я?
Судьба, судьба рукой железной
Разбила мирный наш Лицей...

Уже из этих строк видно, что в трактовке лицейской темы Пушкин никогда не замыкался в интимной элегии: в них проявилась замечательная способность поэта даже в личных мотивах отражать общественные настроения.

Лицейская тема в лирике Пушкина 1820—1830 годов стала темой верности идеям свободы и протеста против политических сил, враждебных «святому братству» вольнолюбивых друзей.

Выше мы показали, что «союз», «святое братство» в Лицее действительно существовало. Но после окончания Лицея воспитанники продолжали провозглашать идеи «лицейского союза», восхвалять его традиции публично. Стихи Пушкина, Дельвига, Кюхельбекера, прославлявшие «святое братство» людей, связанных общностью убеждений, печатались на страницах «Сына отечества», «Невского зрителя» и других журналов; это была одна из форм пропаганды более широкой идеи сплочения прогрессивной молодежи. Кюхельбекер в письме «Лицейского ветерана к другу» (напечатано в «Сыне отечества», 1818) писал о роли Лицея в воспитании гражданской доблести и любви к отечеству. Куницын в конце своих статей о конституции и на другие политические темы неизменно делал пометку: «Царское Село». Куницын вместе с бывшими лицеистами (Пушкиным, Пушиным) встречался в 1819 году у Н. Тургенева на собраниях Журнального общества¹⁰.

Намеки на какие-то петербургские собрания, где участвовали «Пушкин и вся лицейская дружина», имеются в воспоминаниях Федора Глинки. Наконец, по свидетельству Энгельгардта, бывшие воспитанники первого выпуска частенько наведывались в Лицей. Особенно часто приезжал Пушин — в то время член тайного общества «Союза благоденствия», не упуская возможности пропагандистской работы среди воспитанников следующего выпуска под флагом «преемственности». Не случайно в лицейском рукописном журнале «Лицейские ведомости» (1817, № 1, 15 декабря) помещено объявление с предупреждением: «Тот, кто станет у новых поселенцев обнаруживать дерзкие и республиканские мысли, подвергнется жесточайшему наказанию»¹¹.

В сохранении и пропаганде свободолюбивых традиций была заинтересована, конечно, передовая группа бывших лицейстов.

Именно поэтому так называемые «лицейские годовщины» — ежегодное празднование дня открытия Лицея (19 октября) — служили поводом для политических деклараций, которые в обстановке александровской, а затем николаевской реакции не только напоминали о былом, но и свидетельствовали о живучести «лицейского духа».

Старое пушкиноведение обходило политическую сторону «лицейских годовщин». А между тем именно эта сторона представляет действительный интерес.

К. Грот в статье «Празднование лицейских годовщин при Пушкине и после него» (1909) пишет: «Без сомнения, обычай вспоминать день открытия Лицея (19 октября 1811 года) ежегодной сходкой на скромную товарищескую пирушку* установился у воспитанников I курса непосредственно по выходе из Лицея (в 1817 году), так как наверно и в стенах Лицея они привыкли по-своему чествовать этот день. Но о первых годовщинах, с 1817 по 1822 год, мы сведений не имеем». Теперь эти сведения нами обнаружены. Вместе с тем можно установить имена тех, кто особенно чтит лучшие традиции Лицея. Это Пушкин, Дельвиг, Кюхельбекер, Яковлев (его прозвали «Лицейским старостой») и наиболее активный из них Пущин. Из письма Н. Корсакова Горчакову от 28 октября 1818 года мы узнаем, что сходка воспитанников в первый год после окончания ими Лицея была организована у Пущина. Корсаков пишет: «19-го этого месяца в количестве 14 человек мы собрались у Пущина», «пели лицейские песни», «снова возвратились в доброе старое время». В других письмах разных лиц имеются сведения о собраниях в Москве и Петербурге, как организованных в честь 19 октября, так и независимо от этой даты. 19 октября 1817 года тот же Корсаков извещает «представителей единой и неделимой лицейской республики в Москве» (заголовок письма) о том, что накануне у него был «лицейский обед», где в числе других товарищей присутствовал Вольховский (в то время член «Союза благоденствия»). О частых встречах лицейцев и особенно о Пущине как хранителе «лицейской дружбы» упоминает Энгельгардт в письмах к Матюшкину, Горчакову, Вольховскому. Даже в Сибири Пущин не забывал дня 19 октября. А. Е. Розен в 1832 году писал Энгельгардту со слов Пущина (осужденному декабристу было запрещено находиться с кем-либо в переписке): «Грустно ему было читать в письме вашем о последнем 19-м октября... Передайте дружеский поклон Ивана Ивановича всем верным союзу дружбы;

* Характерное для Грота осмысление сущности годовщин.

охладевшим попеняйте. Для него, собственно, этот день связан с незабвенными воспоминаниями; он его чтит ежегодно...»¹²

В чем же выразилась политическая сторона «лицейских годовщин»?

Намеки на свободолюбивые традиции Лицея имеются даже в стихах осторожного Илличевского, которые были прочтены на сходке 1822 года:

Доколе сердце в нас свободно,
И чести внятен строгий глас,
Дадим же руки ежегодно
Мы освещать сей день меж нас¹³.

Пушкин находился в южной ссылке, и эту годовщину праздновали без него. Но именно Пушкин в своих стихах, посвященных лицейским годовщинам, подчеркивал их политический характер.

Первое из своих стихотворений, посвященных лицейским годовщинам, Пушкин написал в 1825 году («Роняет лес багряный свой убор...») в глухой михайловской ссылке; отсюда упоминание о «горьких муках», об одиночестве, печали. Начальные строфы воспринимаются как проверка верности лицейским традициям:

Я пью один, и на берегах Невы
Меня друзья сегодня именуют...
Но многие ль и там из вас пируют?
Еще кого не досчитались вы?
Кто изменил пленительной привычке?
*Кого от вас увлек холодный свет? **
Чей глас умолк на братской переключке?
Кто не пришел? Кого меж вами нет?

Далее подтверждается вольнолюбивая основа лицейского союза, вечного, неколебимого и свободного:

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен.
Срастался он под сенью дружных муз...

Между окончанием Лицея и годовщиной 1825 года в жизни Пушкина произошли события, которые давали возможность проверить истинность дружбы.

Первым из тех, кто исполнил лицейскую клятву

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

дружбы и верности, был Пушкин, приехавший в Михайловское в январе 1825 года:

...Поэта дом опальный,
О Пушкин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его Лицея превратил.

С нежностью говорит Пушкин и о другом своем друге — также приехавшем в Михайловское и оказавшем ему моральную поддержку:

Когда постиг меня судьбины гнев,
Для всех чужой, как сирота бездомный,
Под бурю главой поник я томной
И ждал тебя, вещун пермесских дев,
И ты пришел, сын лени вдохновенный,
О Дельвиг мой: твой голос пробудил
Сердечный жар, так долго усыпленный,
И бодро я судьбу благословил.

Проникновенные строфы посвятил Пушкин Кюхельбекеру; «брат родной по музам, по судьбам», сам подвергшийся впоследствии опале, публично выразил сочувствие Пушкину. Когда в 1820 году стало известно о нависшей над Пушкиным грозе, Кюхельбекер напечатал стихотворение «Поэты» с клятвенным заверением:

...не умрет и наш союз,
Свободный, радостный и гордый,
И в счастье и в несчастье твердый...

Значение этой поэтической декларации заключается в утверждении, что гонителям невозможно усмирить поэтов:

В руке суровой Ювенала
Злодеям грозный бич свистит
И краску гонит с их ланит,
И власть тиранов задрожала! ¹⁴

Это стихотворение Кюхельбекера читалось на публичном собрании Вольного общества любителей российской словесности. Оно послужило поводом для политической демонстрации в защиту гонимого Пушкина.

Вспоминая близких своему сердцу друзей, Пушкин выражал надежду на встречу с ними в будущем году. Но 1826 год был годом последекабрьской реакции — самой суровой проверки «лицейского союза». Ведь многие

в тот период отказывались от своего вольнолюбивого прошлого. Как же была отмечена лицейская годовщина в этой обстановке отчаянья и тоски?

Если от некоторых из лицейских годовщин сохранились протоколы (два из них, 1828 и 1836 годов, написаны преимущественно Пушкиным), то сведений ни об участниках собрания 1826 года, ни о его содержании почти не осталось. Причины ясны: на этом собрании не могло не быть выражено отношения к декабрьским событиям, участниками которых были двое бывших лицейцев — Пушкин и Кюхельбекер. И в самом деле, стихотворение Дельвига, которое было тогда прочитано, гласит:

Снова, други, в братский круг
Собрал нас отец похмелья,
Поднимите ж кубки вдруг
В честь и дружбы и веселья,

Но на время омрачим
Мы веселье наше, братья,
Что мы двух друзей не зрим
И не ждем в свои объятья.

Нет их с нами, но в сей час
В их сердцах пылает пламень.
Верьте. Вятен им наш глас,
Он проникнет твердый камень...

На том же листке написаны стихи Илличевского, также провозглашающие незыблемость лицейского союза:

Хвала лицейским! Свят обет
Им день сей праздновать свиданьем.
Уже мы розно девять лет,
Но связаны воспомианьем!

И что же время нам? Оно
Расторгнуть братских уз не смеет,
И дружба наша, как вино,
Тем больше крепнет, чем стареет¹⁵.

Братский привет осужденным друзьям Пушкин послал позже. Он в день лицейской годовщины был в Москве и поэтому не мог принять участия в сходке. Своему другу «Жанно» (Ивану Пушкину) Пушкин послал в Сибирь с женой декабриста Муравьева стихотворение «Мой первый друг, мой друг бесценный», проникнутое

глубокой любовью и братским сочувствием. Стихотворение помечено «13 декабря 1826 г.», то есть оно написано в канун годовщины декабрьского восстания. В конце говорится о «лицейских ясных днях», лучом которых поэт надеялся озарить заточенье друга. Тема Лицея и тема декабризма сближались, таким образом, в поэтическом сознании Пушкина. Такое же сближение сделано поэтом в стихотворении, посвященном лицейской годовщине 1827 года: «Бог помочь вам, друзья мои».

Разлука, время, реакция не могли разрушить идейных уз «святого братства». В 1828 году Кюхельбекер в стихотворении на лицейскую годовщину восклицал:

Моих друзей далекий круг!
Вспомнит ли в сей день священный,
В день, сердцу братьев незабвенный,
Меня хотя единый друг?

А 20 октября 1830 года Кюхельбекер писал Пушкину из арестантских рот Динабургской крепости: «Вчера был лицейской праздник; мы его праздновали не вместе, но — одними воспоминаниями, одними чувствами»¹⁶.

Для Пушкина и его круга не только самый день 19 октября, но и воспоминание об осужденных товарищах были священными. С Кюхельбекером случайно встретился он около Боровичей 14 октября 1827 года: его друга перевозили из Шлиссельбургской крепости. Встреча эта описана Пушкиным в лаконичных, но исполненных глубокого трагизма строках.

С годами лицейская тема приобретала у Пушкина все более и более трагическое звучание. В 1831 году он не был на сходке (возможно потому, что не стало одного из его ближайших друзей — Дельвига и круг собравшихся после этого почти потерял для него интерес). Но и на эту годовщину он откликнулся стихами, лейтмотив которых — влияние мрачной, жестокой действительности на лицейскую семью:

Чем чаще празднует Лицей
Свою святую годовщину,
Тем робче старый круг друзей
В семью стесняется едину,
Тем реже он; тем праздник наш
В своем веселии мрачнее;
Тем глуше звон заздравных чаш,
И наши песни тем грустнее.

Далее в зачеркнутой строфе вспоминаются события за двадцать лет: война 1812 года, смерть Александра, смерть Наполеона, борьба греков за независимость, французская революция 1830 года, свержение Карла X, июльское восстание. Строфа была откинута, по-видимому потому, что в этом контексте слишком ясными становились политические намеки третьей строфы, посвященной Пушкину и его друзьям:

...дуновенья бурь земных
И нас нечаянно касались,
И мы средь пиршеств молодых
Душою часто омрачались;
Мы возмужали; рок судил
И нам житейски испытанья,
И смерти дух средь нас ходил
И назначал свои закланья.

Этим же настроением было проникнуто уже упоминавшееся стихотворение Кюхельбекера «19 октября 1828 года», написанное на несколько лет раньше.

Какой волшебною одеждой
Блистал пред нами мир земной!
С каким огнем, с какой надеждой,
С какою детской слепотой
Мы с жизнью вступали в бой.
Но вскоре изменила сила...

Перечисляя потери среди лицейских друзей, Пушкин с особенной скорбью говорит о Дельвиге:

Товарищ юности живой,
Товарищ юности унылой,
Товарищ песен молодых...

Стихотворение все же оканчивается жизнеутверждающим мотивом:

Тесней, о милые друзья,
Тесней наш верный круг составим,
Почившим песнь окончил я,
Живых надеждою поздравим...

Особенный интерес представляют пушкинские стихи на лицейскую годовщину 1836 года. В тот год по случаю двадцатипятилетия Лицея возникло предложение объединиться трем выпускам для ознаменования этого дня,

Пушкин резко выступил против такого объединения. Еще в 1825 году он писал:

Кому ж из нас под старость день Лицея
Торжествовать придется одному?

Теперь он вновь подтвердил в записке М. Л. Яковлеву: «Нечего для двадцатипятилетнего юбилея изменять старинные обычаи Лицея. Это было бы худое предзнаменование. Сказано, что и последний лицеист * один будет праздновать 19 октября. Об этом не худо напомнить. № 14» **. Значение этих слов Пушкина (как и многих других фактов) попросту игнорировалось историками Лицея и биографами поэта.

За объединение всех выпусков выступил Модест Корф, которому идейная основа содружества передовых лицеистов была чужда. «Нет причины отказываться от соединения трех выпусков, — писал он Яковлеву — ...должен сознаться, что это будет несравненно *веселее*... лицейские воспоминания между нами всеми могут быть точно так же живы и *громки*, а о другом, постороннем, едва ли тут кто и затеет говорить, да и, кажется, и лета наши уже не те, чтобы опасаться иметь при нашем разговоре свидетелей». Последние слова явно выдают нежелание Корфа слышать разговоры «о другом, постороннем», то есть разговоры политические ¹⁷.

Но все же точка зрения Пушкина и его сторонников победила: на годовщину были допущены только лицеисты первого выпуска. Были и разговоры «о другом, постороннем». В протоколе этой сходки, между прочим, отмечено, что присутствующие читали «письма, писанные некогда отсутствующим братом Кюхельбекером к одному из товарищей». Кроме того, тогда же читали бумаги, хранящиеся в архиве лицейском у старосты Яковлева, «поминали лицейскую старину», «пели национальные песни». О Пушкине сказано, что он «начинал читать стихи на 25-летие Лицея, но всех стихов не припомнил и, кроме того, отозвался, что он их не докончил; но обещал докончить, списать и приобщить к сегодняш-

* Подразумевается последний из лицеистов пушкинского выпуска.

** Пушкин подписался номером комнаты, в которой он жил, участь в Лицее.

нему протоколу». По другому свидетельству Яковлева (который закончил протокол, почти весь написанный Пушкиным), Пушкин начал читать стихи, но «слезы полились из его глаз. Он не мог продолжать чтение»¹⁸. Это вполне правдоподобно: стихотворение «Была пора...» принадлежит к самым трагическим произведениям Пушкина. Поэт, затравленный царем и придворной кликой, как бы дает отчет о событиях за двадцать пять лет. Безвозвратно кануло в прошлое время, когда «жили все и легче и смелей», когда молодой праздник «сиял, шумел и розами венчался». Теперь не то:

Меж нами речь не так игриво льется,
Просторнее, грустнее мы сидим,
И реже смех средь песен раздается,
И чаще мы вздыхаем и молчим.

Прошедшие годы были годами бурных событий:

...Метались смущенные народы;
И выселись и падали цари;
И кровь людей то славы, то свободы,
То гордости багрила алтари.

Дальше Пушкин разворачивал историческую тему, но стихотворение осталось неоконченным. В последний раз присутствовал он на лицейской годовщине: менее четырех месяцев отделяли его от гибели. После дуэли, умирая, он с любовью и грустью вспоминал друзей юности. «Как жаль, — говорил он, — что нет теперь здесь ни Пушина, ни Малиновского, мне бы легче было умирать»¹⁹.

Отклики лицейских друзей поэта на его смерть пронизаны идеей взаимной ответственности за судьбу каждого из членов «святого братства». Матюшкин писал М. Яковлеву в 1837 году: «Пушкин убит — Яковлев, как ты это допустил — у какого подлеца поднялась на него рука! Яковлев, Яковлев, как ты мог это допустить? — Наш круг редеет, пора и нам убираться». Еще ярче выражена та же мысль в письме И. И. Пушина к своему лицейскому товарищу И. В. Малиновскому: «... если бы при мне должна была случиться несчастная его (Пушкина. — Б. М.) история и если б я был на месте К. Данзаса, то роковая пуля встретила бы мою грудь...»²⁰

С отчаянием писал Кюхельбекер в сибирском одиночестве о потере Пушкина, как о горе, после которого незачем и не для чего жить:

Последний пал родимый мне поэт...
И вот опять Лицея день священный;
Но уж и Пушкина меж Вами нет.

Пора и мне!..²¹

После гибели Пушкина лицейские годовщины теряют свой политический характер. Полностью обесцвечивается идейное содержание «лицейского союза». Иначе и не могло быть: время обнаружило с еще большей остротой враждебность взглядов передовой и консервативной групп лицейстов. В 1837 году Корф откровенно писал Вольховскому, что день 19 октября празднуется, но «без прежнего радушия: судьба и обстоятельства слишком раскидали и разрознили нас, чтобы струны далекой молодости звучали и отдавались так же согласно, как бывало прежде». Были, однако, люди, для которых «струны далекой молодости» звучали. Все еще продолжал поминать ветеран «святого братства» Иван Пущин в своих письмах «священный день» 19 октября, а Кюхельбекер еще много лет спустя, слепой, хилый, преждевременно постаревший, но сохранивший живость поэтической фантазии, писал в своих стихах о «гордом» времени Лицея, о союзе поэтов, о тени Пушкина. Но это были воспоминания одиночек, воспоминания, которые не были и не могли стать фактом общественной жизни и сохранились для истории лишь в пожелтевших, ветхих страницах семейных архивов²².

Эти страницы рассказывают и об одном эпизоде, который мог бы показаться странным и неправдоподобным, если бы мы не знали, насколько сильной была для людей пушкинского круга идея «лицейского союза». В 1861 году Иван Малиновский, лицейский сверстник Пушкина и сын первого директора Лицея, обратился к А. М. Горчакову с любопытнейшим письмом. В день пятидесятилетней годовщины основания «Лицейской республики» Малиновский, 65-летний старик, живший в неизвестности в селе Каменка близ Изюма, потребовал в силу лицейских правил равенства у министра иностранных дел и человека, «особо приближенного к императору», отчет о том, как он выполнял клятвы «лицей-

ского союза». Перемежая слова лицейского гимна со стихами Пушкина, Малиновский писал:

«Мы пели:

Шесть лет промчалось как мечтанье
В объятиях сладкой тишины.

Теперь надо проверить нам себя, дать добросовестный отчет за 50 лет! Как состязались мы? — среди житейских бед! Было ль в нас: *К правде пылкое стремление* — сохранили ль мы: *Юную к славе кровь!*

В несчастьи гордое терпенье,
А в счастье всем равно любовь?

Вам есть возможность быть вместе, допросить каждого по-товарищески обо всем этом, а меня как мои 65 лет, так и настоящий сезон, при семейных обстоятельствах, лишают этой отрады. Приветствую вас. *Бог в помощь вам, друзья мои. В заботах жизни, царской службы.*

А о себе скажу:

Пожатый лавр на поле брани
Оставил формуляр мой пуст».

Отчитываясь в своем жизненном пути, Малиновский далее продолжал: «Всем видевшим меня на Украине в состязании 33 года могу смотреть прямо в глаза. По твоей умозрительности, достойный лицеист и князь, предоставляю разделить это с нашими *старыми* товарищами или положить под спуд. Подобною выходкою хотя трудно вас, сановников, вызвать на изложение подвигов служебной жизни вашей, но в оправдание девиза лицейской медали: «Для пользы общей», следовало бы дополнить:

Он взял Париж
И создал наш Лицей».

Малиновский предлагает, чтобы каждый из оставшихся в живых лицеистов отчитался бы в своих делах перед товарищами и ответил на вопрос: «А мы вот что сделали такое. Отлитографовать бы исповедь, сколько есть нас в живых первого курса, и размеяться.

Но время неприметно льется,
Наш круг все меньше и тесней.
Кому-то одному придется
Всех пережить своих друзей.

Осталось еще десять, если граф Броглио жив, — и, кажется, живем ладно.

...Храните, о друзья, храните
Ту ж дружбу с тою же душой.

Это двестише на 50-летний юбилей мой тост и спич, ибо в порочном сердце дружба не живет...

Пожди за меня искренно руку товарищам, у кого я остался еще в памяти, а я мысленно заключу вас в объятия. Толпа воспоминаний! Мир праху отшедшим, а радости живущим бог пошлет. Скажи мне слово о кончине нашего Энгельгардта или попроси Матюшкина, он, верно, знает.

С уважением тебе преданный *Иван Малиновский*.

4 июня 1861 г.

Село Каменка близ г. Изюма»²³.

В этом письме все должно было казаться диким для сиятельного князя — министра: и дерзкое требование отчета в жизненных делах, и обращение на «ты», и колкое замечание: «трудно вас, сановников, вызвать на изложение подвигов служебной жизни». Но то ли искренний тон письма Малиновского, то ли ожившие воспоминания о лицейских годах заставили Горчакова откликнуться. В письме Малиновскому 23 июня 1861 года Горчаков уверял его: «Как ты, и я верен старой дружбе и старым воспоминаниям». Но от письма веет холодом, а монархически-официальные фразы, резко контрастирующие с лирическим тоном Малиновского, напоминают типичные назидания «вышестоящих лиц». «Моей исповеди тебе не посылаю, — писал Горчаков, — но прошу принять старую фигуру мою в прилагаемой карточке. Если не покажусь тебе красив, то не моя вина, зачем ты не дал случая показаться тебе до истечения более 40-летней разлуки. Благодарю бога, дух бодр и не унывает, голова светла, но физические силы истощаются... Будущность России огромна, но путь нелегок; но я надеюсь, что достигнем цели, и в этой надежде укрепляет меня вблизи дознанная великая душа государя (Александра II. — Б. М.) и пламенная любовь его к своей России»²⁴.

«В прощальной песне воспитанников Лицея», написанной Дельвигом, о родине говорилось:

Мы дали клятву: все родимой,
Все без раздела — кровь и труд
Готовы в бой неколебимо.
Неколебимо — правды в суд.

Для иных из современников Пушкина за этими словами не скрывалось никакого реального содержания. Но для самого Пушкина, для его друзей-единомышленников здесь таился сокровенный, глубокий смысл. Облик Пушкина и в жизни и в литературе действительно определила позиция борца «за благо отчизны».